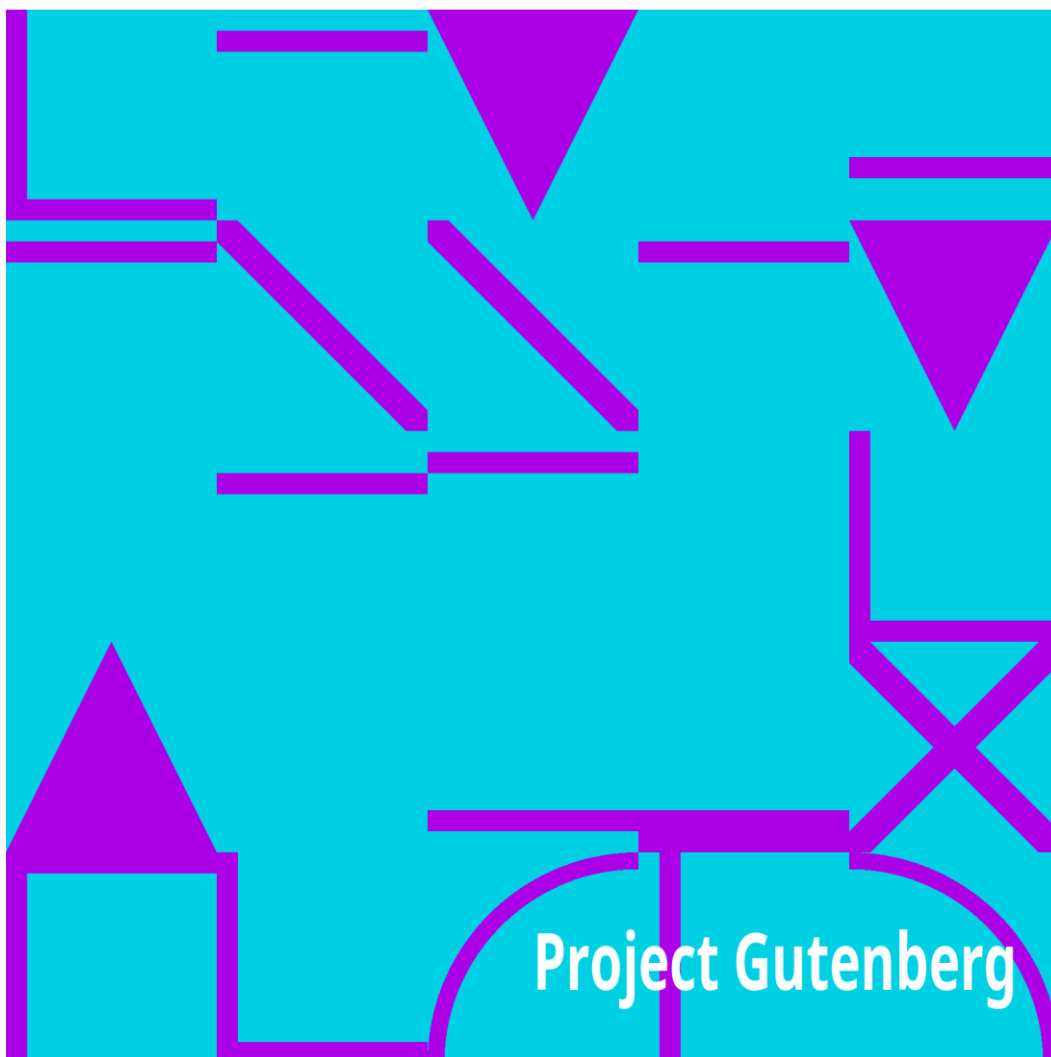


Женщины революции

Жюль Мишле

Les Femmes de la Révolution

Jules Michelet



Project Gutenberg

Электронная книга проекта Gutenberg «Женщины революции» ()

Женщины революции

Эта электронная книга предназначена для бесплатного использования в любой точке США и большинства других стран мира практически без каких-либо ограничений. Вы можете копировать, передавать или повторно использовать ее в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой электронной книге или доступной онлайн по [адресу www.gutenberg.org](http://www.gutenberg.org). Если вы не проживаете в США, перед использованием этой электронной книги вам необходимо ознакомиться с законодательством страны, в которой вы проживаете.

Название: Женщины революции

Автор: Жюль Мишле

Дата выпуска: 2 июля 2006 г. [электронная книга № 18738]

Язык: французский

Благодарности: Произведено Мирей Хармелин, Чаком Грейфом и командой онлайн-корректоров DP Europe (<http://dp.rastko.net/>)

*** НАЧАЛО ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПРОЕКТА ГУТЕНБЕРГ «ЖЕНЩИНЫ РЕВОЛЮЦИИ» ***

ЖЕНЩИНЫ РЕВОЛЮЦИИ ()

АВТОР: Ж. МИШЕЛЕ

Второе переработанное и исправленное издание

ПАРИЖ

АДОЛЬФ ДЕЛАЗ, КНИГОТОРГОВЕЦ-ИЗДАТЕЛЬ

УЛИЦА ВОЛТЕРА, 4-6

1855

Автор и издатель данного произведения оставляют за собой право переводить его или поручать его перевод на любые языки.

Париж.—Изд. Simon Raçon et comp., rue d'Erfurth, 1.

СОДЕРЖАНИЕ

I.

I. Женщинам, матерям, дочерям

- II. Влияние женщин в XVIII веке. -- Материнство
- III. Героизм милосердия. -- Женщина разрушила Бастилию
- IV. Любовь и любовь к идее (89-91)
- V. Женщины 6 октября (89)
- VI. Женщины федерации (1790)
- VII. Женщины-якобинцы (1790)
- VIII. Дворец Рояль в 90-х годах. Эмансипация женщин. Погреб якобинцев

II.

- IX. Салоны. Мадам де Сталь
- X. Салоны. — Мадам де Кондорсе
- XI. Продолжение. -- Мадам де Кондорсе (94)
- XII. Женские общества. -- Олимпия де Гуж, Роза Лакомб
- XIII. Теруэн де Мерикур (89-93)
- XIV. Женщины Вандеи в 90 и 91 годах

III.

- XV. Мадам Ролан (91-92)
- XVI. Мадам Ролан (продолжение)
- XVII. Мадемуазель Керальо (мадам Роберт) (17 июля 91)
- XVIII. Шарлотта Корде
- XIX. Смерть Шарлотты Корде (19 июля 95)
- XX. Дворец Рояль в 93 году. Салоны. Как разгневалась Жиронда
- XXI. Первая жена Дантона (92-93)
- XXII. Вторая жена Дантона. Любовь в 93 году

IV.

- XXIII. Богиня Разума (10 ноября 93)
- XXIV. Культ женщин для Робеспьера
- XXV. Робеспьер у мадам Дюплей (91-95)
- XXVI. Люсиль Демулен (апрель 94)
- XXVII. Казни женщин. Могут ли женщины быть казнены?
- XXVIII. Катрин Тео, Мать Божья. -- Робеспьер-мессия (июнь 94 г.)
- XXIX. Дамы Сен-Амарант (июнь 94 г.)
- XXX. Безразличие к жизни. -- Быстрые любовные связи в тюрьмах (93-94)
- XXXI. Каждая партия гибнет из-за женщин
- XXXII. Реакция женщин в течение полувека после Революции

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Галерея или биографический музей, который читатель собирается посетить, состоит в основном из портретов женщин, нарисованных г-ном Мишле в его «Истории революции».

Некоторые из них были неполными, поскольку историк, описывая общее течение событий, мог набросать лишь их профиль. Он восполнил это, опираясь на лучшие биографические источники.

Как будет видно, несколько статей являются новыми, другие были переработаны или значительно дополнены.

I ЖЕНЩИНАМ, МАТЕРЯМ, ДОЧЕРЯМ

(1 марта 1854 г.)

Эта книга выходит в свет в день, когда закрываются книги, когда события берут верх, когда возобновляется европейская война, прерванная на сорок лет.

И как вы будете читать? Вы смотрите туда, куда уходят ваши сыновья, ваши братья! — или ближе, на линию, куда, возможно, завтра уйдут ваши мужья! Ваша душа жаждет новостей, ваше ухо прислушивается к отдаленным выстрелам; вы с тревогой слушаете первый выстрел, торжественный и глубокий, который гремит в знак великой религиозной войны Востока и Запада.

Великая война, поистине, и ее не ограничить. По месту, по времени и по характеру она будет расти. Это война двух догм, о женщины! двух символов и двух времен, нашего и прошлого. Этот окончательный характер, еще неясный в пробах и ошибках, в зарождающейся политике, будет все больше и больше проявляться.

Да, какими бы двусмысленными, нелепыми и нерешительными ни были формы, в которых проявляется это ужасное новорожденное явление времени, чье имя означает смерть сотен тысяч людей, — *война* — это война варварского христианства Востока против молодой социальной веры цивилизованного Запада. Сам враг прямо сказал об этом из Кремля. И новая борьба представляет собой зловещий образ Молоха, защищающего Иисуса.

В момент, когда мы должны посвятить всю нашу жизнь, наше состояние и наши жизни этому великому событию, самому серьезному из всех, каждый должен затянуть пояса, собрать все свои силы, заглянуть в свою душу, в свой дом, чтобы убедиться, что он найдет там единство, которое приносит победу.

Что было бы в этой внешней войне, если бы человек еще и дома вел войну, глухую и изнурительную войну слез или безмолвных вздохов, болезненного молчания? Если бы вера прошлого, сидящая у его очага, окружающая его сопротивлением, этими ласковыми слезами, которые разбивают сердце, держала его за левую руку, когда он должен бить обеими руками...?

«Скажи мне, любимая женщина! Поскольку мы еще сидим за этим семейным столом, за которым я не всегда буду сидеть, скажи мне, перед этой дикой дуэлью, куда бы она меня ни привела, будешь ли ты со мной сердцем? ... Ты удивляешься, ты клянешься, плача... Не клянись, я верю всему. Но я знаю твое внутреннее противоречие. Что ты будешь делать в тех крайних ситуациях, к которым приведет нас завтрашняя борьба?

«За этим столом, за которым сегодня мы сидим вдвоем, а завтра ты будешь сидеть одна, возвысь и укрепи свое сердце. Вспомни героическую историю наших матерей, прочитай о том, что они сделали и чего хотели, их высшую преданность, их славную веру 89 года, которая в таком глубоком единстве воздвигла алтарь будущего.

«Счастливая эпоха сильных поступков, великих страданий, но связанных между собой, союза в борьбе, общности в смерти!... Эпоха, когда сердца бились в таком единстве идей, что Любовь не отличалась от Родины!

«Сегодня борьба еще больше, она охватывает всю нацию, — еще глубже, завтра она достигнет самых сокровенных моральных волокон. В тот день, что ты сделаешь для меня? Спроси историю наших матерей, свое сердце, новую веру, за которую тот, кого ты любишь, хочет сражаться, жить и умереть.

«Пусть она будет твердой во мне! И пусть Бог распоряжается... Его дело со мной... Удача и счастье тоже будут со мной, что бы ни случилось, если ты, единственная любимая, останешься со мной, и если, объединившись в моих усилиях и став единым сердцем, ты героически переживешь этот высший кризис, из которого возникнет новый мир».

II

ВЛИЯНИЕ ЖЕНЩИН В XVIII ВЕКЕ — МАТЕРИНСТВО

.

Все заметили необычайную плодovitость 1768, 1769 и 1770 годах, столь богатых на детей гениальных, в которые появились на свет Бонапарт, Фурье, Сен-Симон, Шатобриан, де Местр, Уолтер Скотт, Кювье, Жоффруа Сен-Илер, Биша, Ампер и невероятное множество изобретателей в области наук.

Другая эпоха, предшествовавшая ей на десять лет (около 1760 года), не менее удивительна. Это эпоха, породившая героическое поколение, которое своей кровью оросило первую борозду свободы, которое этой плодотворной кровью создало и одарило Родину; это Жиронда и Гора, Роланы и Робеспьеры, Верньо и Дантоны, Камиль Демулен; это чистое, героическое и пожертвовавшее собой поколение, которое сформировало непобедимые армии Республики, Клеберы и многие другие.

Богатство этих двух моментов, эта необыкновенная роскошь сил, которые внезапно возникают, — это случайность? По нашему мнению, в этом мире нет случайности.

Нет, естественная и очень простая причина этого явления — это избыток энергии, который репереполнял этот момент.

Первая дата (около 1760 года) — это зарождение Руссо, начало его влияния, первый и мощный эффект книги «Эмиль», живые эмоции матерей, которые хотят кормить грудью и прижимаются к колыбели своего ребенка.

Вторая дата — это триумф идей века, не только благодаря всеобщему признанию Руссо, но и благодаря предсказанной победе его идей в законах, благодаря великим процессам Вольтера, благодаря его великолепным защитам Сирвена, Каласа и Ла Барра. Женщины замолчали, собрались с мыслями под влиянием этих мощных эмоций, они приготовились к грядущему спасению. Дети в этот час все носят знак на лбу.

Могучие поколения, рожденные высокими мыслями возвышенной любви, зачатые пламенем небес, рожденные в священный, слишком короткий момент, когда женщина, через страсть, увидевшая, поклонилась Идее.

Начало было прекрасным. Они пришли к новым мыслям через мысли об образовании, через надежды, желания материнства, через все вопросы, которые ребенок вызывает с момента своего рождения в сердце женщины, что я говорю? в сердце девушки, задолго до появления ребенка: «Ах, пусть этот ребенок будет счастлив! Пусть он будет добрым и великим! Пусть он будет свободным!... Святая древняя свобода, которая создала героев, будет ли мой сын жить в твоей тени? ...» Вот такие мысли у женщин, и вот почему на этих площадях, в этих садах, где ребенок играет на глазах у своей матери или сестры, вы видите, как они мечтают и читают... Что это за книга, которую девушка, увидев вас, так быстро спрятала под платьем? Какой-нибудь роман? «Элоиза»? Нет, скорее «Жизнь Плутарха» или «Общественный договор».

Сила салонов, очарование бесед были тогда, что бы ни говорили, второстепенными факторами влияния женщин. Этими средствами они обладали в век Людовика XIV. То, что они приобрели в XVIII веке и что сделало их непобедимыми, — это восторженная любовь, одинокие мечтания о великих идеях и желание *быть матерями* во всем смысле и всей серьезности этого слова.

Остроумные сплетни мадам Жоффрен, красноречивые монологи мадам де Сталь, очарование общества Отей, мадам Гельвеция или мадам Рекамье не изменили бы мир, тем более женщины-писатели, неутомимая перо мадам де Женлис.

То, что в середине века изменило всю ситуацию, — это то, что в первых лучах зари новой веры в сердцах женщин, в сердцах матерей встретились две искры: *человечность и материнство*.

И из этих двух искр, что неудивительно, вырвался горячий поток любви и плодотворной страсти, сверхчеловеческое материнство.

III

ГЕРОИЗМ ЖАЛОСТИ — ЖЕНЩИНА РАЗРУШИЛА БАСТИЛИЮ

.

Первое появление женщин в героической карьере (за пределами семьи) произошло, как и следовало ожидать, под влиянием сострадания.

Это наблюдалось во все времена, но то, что действительно является великим веком человечности, что является новым и оригинальным, — это удивительная настойчивость в бесконечно опасном, сложном и маловероятном деле, бесстрашная человечность, которая бросила вызов опасности, преодолела все препятствия и покорила время.

И все это ради человека, который в другие эпохи, возможно, никого бы не заинтересовал, который не имел ничего, кроме того, что был человеком и очень несчастным!

Нет легенды более трагичной, чем легенда о заключенном Латуде; нет легенды более возвышенной, чем легенда о его освободительнице, мадам Легро.

Мы не будем рассказывать историю Бастилии и Латюда, которые так хорошо известны. Достаточно сказать, что в то время как все тюрьмы стали более мягкими, эта стала более жесткой. Каждый год ее усиливали, заделывали окна, добавляли решетки.

Так случилось, что в этой Бастилии старая глупая тирания заперла человека, наиболее способного ее разоблачить, человека горячего и страшного, которого ничто не могло укротить, чей голос сотрясал стены, чей ум и смелость были непобедимы... Неуязвимое железо, которое должно было износить все тюрьмы, и Бастилию, и Венсен, и Шарантон, и, наконец, ужас Бисетра, где любой другой погиб бы.

Что делает обвинение тяжелым, обременительным, бесповоротным, так это то, что этот человек, такой, какой он есть, дважды сбежавший, дважды сдался сам. Однажды, находясь в укрытии, он пишет мадам де Помпадур, и она заставляет его снова арестовать! Во второй раз он отправляется в Версаль, хочет поговорить с королем, доходит до его приемной, и она заставляет его снова арестовать... Что же! Так апартаменты короля не являются священным местом!

К сожалению, я вынужден сказать, что в этом мягком, слабом, увядающем обществе было много филантропов, министров, магистратов, великих сеньоров, которые плакали над этой историей, но ни один из них ничего не сделал. Мальэшерб плакал, Ламуаньон плакал, Роган плакал, все плакали горячими слезами.

Он был на своем навозе в Бисетре, **буквально** съеденный вшами, жил под землей и часто кричал от голода. Он еще отправил меморандум какому-то филантропу через пьяного ключника. Тот, к счастью, потерял его, но одна женщина нашла. Она прочитала его, вздрогнула, не заплакала, но сразу же приняла меры.

Мадам Легро была бедной маленькой лавочницей, которая жила своей работой, шила в своей лавке; ее муж был репетитором латыни. Она не побоялась ввязаться в это ужасное дело. Она с твердым здравым смыслом видела то, чего другие не видели или не хотели видеть: что несчастный не был сумасшедшим, а жертвой ужасной необходимости этого правительства, вынужденным скрывать и продолжать позор своих старых проступков. Она это видела и не была ни обескуражена, ни напугана. Не было более полного героизма: у нее была смелость начать, сила продолжать, упорство жертвовать собой каждый день и каждый час, мужество презирать угрозы, проницательность и все святые хитрости, чтобы отразить и сорвать клевету тиранов.

Три года подряд она следовала своей цели с невероятной упорностью в добре, преследуя право, справедливость с той же упорностью, которую мы обычно приписываем только охотникам или игрокам, и которую мы редко приписываем нашим дурным страстям.

Все несчастья на пути, а она не сдается. Умирает ее отец, умирает ее мать; она теряет свой маленький бизнес; ее осуждают родители, ее подло подозревают. Ее спрашивают, не является ли она любовницей того заключенного, к которому она проявляет такой интерес. Любовницей этой тени, этого трупа, пожираемого чесоткой и паразитами!

Искушение из искушений, вершина, острый пик Голгофы — это жалобы, несправедливость, недоверие того, для кого она изнашивает себя и жертвует собой!

Великое зрелище — видеть эту бедную, плохо одетую женщину, которая ходит от двери к двери, ухаживает за слугами, чтобы попасть в гостиницы, отстаивает свое дело перед великими людьми, просит их о поддержке.

Полиция возмущается, возмущается. Мадам Легро может быть арестована в любой момент, заключена в тюрьму, потеряна навсегда; все предупреждают ее об этом. Полицейский лейтенант вызывает ее к себе, угрожает ей. Он находит ее непоколебимой, твердой; это она заставляет его дрожать.

К счастью, ей оказывает поддержку мадам Дюшен, горничная мадам. Она отправляется в Версаль пешком, в разгар зимы; она была на седьмом месяце беременности... Покровительница отсутствует; она бежит за ней, получает растяжение, но не перестает бежать. Мадам Дюшен много плачет, но, увы, что она может сделать? Горничная против двух или трех министров — это неравная борьба! Она держала в руках прошение; придворный аббат, который оказался там, вырвал его из ее рук и сказал, что это дело рук безумца, ничтожества, в которое не следует вмешиваться.

Достаточно было одного такого слова, чтобы ошеломить Марию-Антуанетту, которой об этом рассказали. У нее на глазах появились слезы. Посмеялись. Все закончилось.

Во Франции не было человека лучше короля. В конце концов, все обратились к нему. Кардинал де Роган (проказник, но, в конце концов, милосердный) трижды говорил с Людовиком XVI, который трижды отказывался. Людовик XVI был слишком добр, чтобы не верить г-ну де Сартену, бывшему лейтенанту полиции. Он больше не занимал свою должность, но это не было поводом для того, чтобы опозорить его, выдать его врагам. Помимо Сартена, надо сказать, Людовик XVI любил Бастилию, он не хотел причинять ей вред, портить ее репутацию.

Король был очень человечен. Он упразднил подвальные камеры Шатле, упразднил Винсенн, создал Форс, чтобы помещать туда заключенных за долги и отделять их от воров.

Но Бастилия! Бастилия! Это был старый слуга, с которым старая монархия не могла легкомысленно обращаться. Это была тайна ужаса, это было, как говорит *Tacitum, instrumentum regni*.

Когда граф д'Артуа и королева, желая поставить «*Фигаро*», зачитали ему это, он сказал только, в качестве возражения, на которое не было ответа: «Значит, тогда нужно упразднить Бастилию?»

Когда в июле 89 года в Париже произошла революция, король, довольно беспечный, казалось, смирился с этим. Но когда ему сказали, что парижский муниципалитет приказал снести Бастилию, это было для него как удар в грудь: «Ах! — сказал он, — это сильно!»

В 1781 году он не мог принять прошение, которое ставило под угрозу Бастилию. Он отклонил прошение, которое Роган представил ему в отношении Латюда. Женщины высокого ранга настаивали. Тогда он добросовестно изучил дело, прочитал все документы; кроме документов полиции, которые были заинтересованы в том, чтобы держать жертву в тюрьме до самой смерти, других документов почти не было. Он окончательно ответил, что это опасный человек и что он *никогда* не сможет освободить его.

Ни за что! Все остальные остались бы на месте. Что не делает король, будет сделано вопреки королю. Мадам Легрос не сдается. Ее принимают Конде, всегда недовольные и ворчливые; принимает ее молодой герцог Орлеанский, его чувствительная супруга, дочь доброго Пентивра; принимают ее философы, маркиз де Кондорсе, пожизненный секретарь Академии наук, Дюпати, Виллет, почти зять Вольтера, и т. д., и т. д.

Мнение общественности становится все громче; волна, волна нарастает. Неккер изгнал Сартину; его друг и преемник Ленуар в свою очередь пал... Настойчивость вот-вот будет вознаграждена. Латюд упорно продолжает жить, а мадам Легро упорно продолжает освобождать Латюда.

В 83 году прибывает человек королевы, Бретей, который хочет, чтобы ее обожали. Он позволяет Академии присудить мадам Легро приз за добродетельность, увенчать ее... при единственном условии, что мотивы для увенчания не будут озвучены.

Затем, в 1784 году, у Людовика XVI отбирают право освободить Латюда^[1]. А через несколько недель издается странный и причудливый указ, предписывающий интендантам по просьбе семей заключать под стражу только *по веским причинам*, указывать *точное время* запрошенного содержания под стражей и т. д. То есть была раскрыта глубина чудовищной бездны произвола, в которой держали Францию. Она и так знала многое, но правительство признало еще больше. Мадам Легро не дожидая до разрушения Бастилии. Она умерла незадолго до этого. Но тем не менее именно ей досталась слава ее разрушителя. Именно она захватила народное воображение, полное ненависти и ужаса к тюрьме, в которой были заключены столько мучеников веры или мысли. Слабая рука бедной одинокой женщины фактически разрушила высокомерную крепость, вырвала из нее крепкие камни, массивные железные решетки, сровняла с землей башни.

IV

ЛЮБОВЬ И ЛЮБОВЬ К ИДЕЕ (80-91)

.

Особенность этого уникального момента заключается в том, что партии становятся религиями. Две религии противостоят друг другу: благочестивое и роялистское идолопоклонство и республиканская идеальность. В одной из них душа, раздраженная чувством сострадания, насильно отброшенная в прошлое, которое ей отказывают, устремляется к идолам из плоти, к материальным богам, которых она почти забыла. В другой душа поднимается и возвышается в поклонении чистой идее; больше нет идолов, нет других объектов религии, кроме идеала, родины, свободы.

Женщины, менее избалованные, чем мы, софистическими и схоластическими привычками, далеко опережают мужчин в этих двух религиях. Это благородно и трогательно — видеть среди них не только чистых, безупречных, но даже наименее достойных, следующих благородному порыву к бескорыстному прекрасному, принимающих родину за верную подругу, а вечное право — за возлюбленного.

Изменяются ли тогда нравы? Нет, но любовь взлетела к самым высоким мыслям. Родина, свобода, счастье человечества захватили сердца женщин. Добродетель римских времен, если она и не присутствует в нравах, то присутствует в воображении, в душе, в благородных желаниях. Они оглядываются вокруг себя в поисках героев Плутарха; они хотят их, они создадут их. Чтобы им понравиться, недостаточно говорить о Руссо и Мабли. Жизненные и искренние, воспринимающие идеи всерьез, они хотят, чтобы слова превращались в дела. Они всегда любили силу. Они сравнивают современного мужчину с идеалом древней силы, который они имеют в уме. Возможно, ничто так не способствовало ускорению хода нашей революции, как это сравнение, это требование женщин.

Это общество было пламенным! Входя в него, нам кажется, что мы чувствуем его горячее дыхание.

В наши дни мы видели необычайные поступки, замечательные жертвы, толпы людей, отдававших свои жизни; и все же, всякий раз, когда я уйду из настоящего, возвращаюсь в прошлое, к истории Революции, я нахожу там гораздо больше тепла; температура совсем другая. Что же, неужели с тех пор земной шар остыл?

Люди того времени говорили мне об этой разнице, но я не понимал. Со временем, по мере того как я вникал в детали, изучая не только механику законодательства, но и движение партий, не только партии, но и людей, личностей, индивидуальные биографии, я хорошо понял слова стариков.

Разница между этими двумя эпохами можно описать одним словом: *люди любили*.

Интерес, амбиции, вечные страсти человека были в игре, как и сегодня, но все же более сильной стороной была любовь. Возьмите это слово во всех его значениях: любовь к идее, любовь к женщине, любовь к родине и к человечеству. Они любили и прекрасное, которое проходит, и прекрасное, которое не проходит; два чувства смешались тогда, как золото и бронза, сплавленные в коринфском бронзовом сосуде[2].

Женщины тогда правили чувствами, страстью, а также, надо сказать, превосходством своей инициативы. Ни до, ни после они никогда не имели такого влияния. В XVIII веке, под влиянием энциклопедистов, в обществе доминировал ум; позже это будет действие, убийственное и ужасное действие. В 91 году доминируют чувства и, следовательно, женщины.

Сердце Франции в это время бьется сильно. С Руссо эмоции нарастают. Сначала сентиментальные, мечтательные, время тревожного ожидания, как час перед грозой, как в молодом сердце любовь, предшествующая возлюбленному. Огромный вздох в 89 году, и все сердца бьются... Затем 90-й год, Федерация, братство, слезы... В 91 году кризис, дебаты, страстные дискуссии. Но повсюду женщины, повсюду индивидуальная страсть в общественной страсти; частная драма, социальная драма смешиваются, переплетаются; две нити сплетаются вместе; увы! очень часто, через мгновение, они будут вместе перерезаны!

Ходила английская легенда, которая вызвала у наших французов большое соперничество. Миссис Маколей, выдающийся историк Стюартов, вызвала у старого министра Уильямса такое восхищение своим гением и добродетелью, что даже в церкви он посвятил ее мраморную статую как богиню Свободы.

Немногие женщины-литераторы того времени не мечтали стать Маколей Франции. Вдохновляющая богиня присутствовала в каждом салоне. Они диктовали, исправляли, переделывали речи, которые на следующий день произносились в клубах, в Национальной ассамблее. Они следили за этими речами, шли слушать их на трибуны; они сидели, как страстные судьи, и своим присутствием поддерживали слабых или робких ораторов. Пусть он поднимет голову и посмотрит... Разве это не тонкая улыбка мадам де Женлис между ее очаровательными дочерьми, принцессой и Памелой? А этот черный глаз, горящий жизнью, разве это не мадам де Сталь? Как может ослабеть красноречие? И разве можно утратить мужество перед мадам Ролан?

ЖЕНЩИНЫ 6 ОКТЯБРЯ (89)

Мужчины сделали 14 июля, женщины — 6 октября. Мужчины взяли королевскую Бастилию, а женщины взяли саму королевскую власть и передали ее в руки Парижа, то есть Революции.

Поводом послужил голод. Ходили страшные слухи о грядущей войне, о союзе королевы и принцев с немецкими князьями, о зеленых и красных иностранных мундирах, которые видели в Париже, о муке из Корбея, которая поступала только раз в два дня, о нехватке продовольствия, которая могла только усугубиться, о приближении суровой зимы. «Нельзя терять времени, — говорили люди, — если мы хотим предотвратить войну и голод, нужно привезти короля сюда, иначе его похитят».

Никто не чувствовал все это так остро, как женщины. Страдания, дошедшие до крайней степени, жестоко поразили семью и дом. Одна дама подняла тревогу в субботу вечером, 3 декабря; видя, что ее мужу не уделяют должного внимания, она побежала в кафе Фуа, где осудила антинациональные кокарды и указала на общественную опасность. В понедельник в рыночном зале одна девушка взяла барабан, забила тревогу и подняла на борьбу всех женщин района.

Такие вещи можно увидеть только во Франции; наши женщины храбры и достойны уважения. Страна Жанны д'Арк, Жанны де Монфор и Жанны Ашетт может назвать сотни героинь. Одна из них была в Бастилии, а позже ушла на войну и стала капитаном артиллерии; ее муж был солдатом. 18 июля, когда король прибыл в Париж, многие женщины были вооружены. Женщины были в авангарде нашей революции. Неудивительно, ведь они страдали больше всех.

Великие бедствия жестоки, они поражают скорее слабых, они жестоко обращаются с детьми, с женщинами гораздо больше, чем с мужчинами. Мужчины приходят, уходят, смело ищут, изобретают, в конце концов находят, по крайней мере на день. Женщины, бедные женщины, в большинстве своем живут замкнутыми, сидя, прядут, шьют; в день, когда всего не хватает, они едва ли в состоянии искать себе жизнь. Больно думать о том, что женщина, существо, которое может жить только вдвоем, чаще бывает одинокой, чем мужчина. Он везде находит общество, создает новые отношения. Она же ничто без семьи. И семья давит на нее; весь груз лежит на ней. Она остается в холодном, немеблированном и бедном жилище с плачущими, больными, умирающими детьми, которые больше не плачут... Мало кто замечает, что, пожалуй, самым мучительным для материнского сердца является то, что ребенок несправедлив. Привыкший видеть в матери всеобъемлющее провидение, которое удовлетворяет все его потребности, он жестоко и безжалостно обвиняет ее во всем, чего ему не хватает, кричит, выходит из себя, добавляя к боли еще более мучительную боль.

Вот такая она, мать. Давайте также вспомним о многих одиноких девушках, грустных существах без семьи, без поддержки, которые, будучи слишком уродливыми или добродетельными, не имеют ни друзей, ни любовников, не знают никаких радостей жизни. Когда их маленькая профессия перестает кормить их, они не знают, чем заменить ее: они поднимаются на чердак, ждут; иногда их находят мертвыми, соседка случайно замечает их.

Эти несчастные даже не имеют достаточно энергии, чтобы жаловаться, рассказать о своем положении, протестовать против судьбы. Те, кто действуют и двигаются вперед в периоды

больших бедствий, — это сильные, менее измученные нищетой, скорее бедные, чем нуждающиеся. Чаще всего бесстрашные, которые бросаются вперед, — это женщины с большим сердцем, которые мало страдают за себя, но много страдают за других; сострадание, бездеятельное, пассивное у мужчин, более смиренных перед бедами других, у женщин — очень активное, очень сильное чувство, которое иногда становится героическим и побуждает их к самым смелым поступкам.

5 октября собралась толпа несчастных людей, которые не ели уже тридцать часов. Это болезненное зрелище разбивало сердца, но никто ничего не делал; все закрывались в своих домах, сетуя на тяжелые времена. Вечером в воскресенье, 4 октября, одна смелая женщина, не могущая больше на это смотреть, бежит из квартала Сен-Дени в Пале-Рояль, пробивается сквозь шумную толпу, которая громко обсуждает происходящее, и заставляет себя выслушать; это была тридцатишестилетняя женщина, хорошо одетая, порядочная, но сильная и смелая. Она хочет, чтобы все пошло в Версаль, и сама пойдет впереди. Ее подшучивают, она дает пощечину одному из шутников. На следующий день она ушла одной из первых, с саблей в руке, взяла пушку в городе, села на нее верхом и повела ее в Версаль с зажженной фитилем.

Среди утраченных профессий, которые, казалось, исчезли вместе со старым режимом, была профессия резчика по дереву. В этой области много работали, как для церквей, так и для апартаментов. Многие женщины занимались резьбой. Одна из них, Мадлен Шабри, не имея больше работы, стала продавщицей цветов в квартале Пале-Рояль под именем Луизон; она была семнадцатилетней девушкой, милой и остроумной. Можно смело поспорить, что не голод привел ее в Версаль. Она последовала общему движению, своему доброму сердцу и мужеству. Женщины поставили ее во главе и сделали своей ораторшей.

Были и другие, которых не вел голод. Были торговки, швейцарки, публичные женщины, сострадательные и милосердные, как они часто бывают. Было значительное число женщин из рынка; они были ярыми роялистками, но тем более хотели, чтобы король был в Париже. Некоторое время назад они были у него в гостях, я не знаю, по какому поводу; они говорили с ним очень сердечно, с забавной, но трогательной фамильярностью, которая свидетельствовала о прекрасном понимании ситуации: «Бедный человек! — говорили они, глядя на короля, — дорогой человек! Добрый папа!» — А королеве они говорили более серьезно: «Мадам, мадам, откройте свое сердце! откроемся!» Не будем ничего скрывать, скажем откровенно то, что мы хотим сказать.

Эти женщины с рынков не страдают от нищеты; их торговля, связанная с предметами первой необходимости, менее подвержена колебаниям. Но они видят нищету лучше, чем кто-либо, и чувствуют ее; всегда живя на площади, они не ускользают, как мы, от зрелища страданий. Никто не сочувствует им больше, никто не лучше к несчастным. С грубыми манерами, резкими и жесткими словами, они часто имеют королевское сердце, бесконечное в своей доброте. Мы видели, как наши пикардьянки, женщины с рынка в Амьене, бедные продавщицы овощей, спасли от гильотины отца четверых детей; это было во время коронации Карла X; они оставили свою торговлю, свои семьи, отправились в Реймс, заставили короля плакать, вырвали помилование и, по возвращении, собрав между собой щедрую сумму, отправили спасенных, счастливых отца, жену и детей.

5 октября, в семь часов, они услышали барабанный бой и не устояли. Маленькая девочка взяла барабан в караульном домике и забила генеральный сигнал. Был понедельник; рынки опустели, все ушли: «Мы приведем, — сказали они, — пекаря, пекаря... И мы будем иметь удовольствие послушать нашу маленькую маму Мирабо».

Рынки шли, а с другой стороны шел пригород Сен-Антуан. По дороге женщины увлекали всех, кого могли встретить, угрожая тем, кто не пойдет, обрезать им волосы. Сначала они пошли в город. Туда только что привели пекаря, который на хлебе весом в два фунта давал на семь унций меньше. Ему надели кайданки. Хотя мужчина был виновен, по его собственному признанию, национальная гвардия позволила ему сбежать. Она выстроилась в шеренгу с штыками перед четырьмя или пятью сотнями женщин, уже собравшихся на площади. С другой стороны, в глубине площади, стояла кавалерия национальной гвардии. Женщины не удивились. Они атаковали кавалерию и пехоту камнями; никто не решился стрелять в них; они ворвались в мэрию, вошли во все кабинеты. Многие были довольно хорошо одеты, они надели белые платья для этого великого дня. Они с любопытством спрашивали, для чего служит каждая комната, и просили представителей округов хорошо принять тех, кого они привели силой, среди которых было много беременных и, возможно, больных от страха. Другие женщины, голодные и разъяренные, кричали: *«Хлеба и оружия! Мужчины — трусы, мы хотим показать им, что такое мужество...»* Все люди из мэрии заслуживали повешения, нужно было сжечь их документы, их бумаги... И они собирались это сделать, возможно, сжечь здание... Их остановил мужчина, очень высокий, в черном костюме, с серьезным лицом, еще более печальным, чем его одежда. Сначала они хотели убить его, полагая, что он был из мэрии, называя его предателем... Он ответил, что он не предатель, а судебный пристав по профессии, один из победителей Бастилии. Это был Станислас Майяр.

С самого утра он плодотворно работал в пригороде Сен-Антуан. Добровольцы Бастилии под командованием Юллина стояли на площади с оружием; рабочие, которые разрушали крепость, подумали, что их посылают против них. Майяр вмешался и предотвратил столкновение. В Городе ему удалось предотвратить пожар. Женщины даже пообещали не впускать мужчин; они поставили вооруженных часовых у главных ворот. В одиннадцать часов мужчины атаковали маленькую дверь, которая вела под аркаду Сен-Жан. Вооруженные ломом, молотками, топорами и пиками, они взломали дверь и ворвались в оружейные склады. Среди них был французский гвардеец, который утром хотел зазвонить в колокол, но был пойман с поличным; по его словам, он чудом спасся; умеренные, такие же яростные, как и остальные, повесили бы его, если бы не женщины; он показывал свою шею без галстука, с которой они сняли веревку... В отместку взяли одного человека из города, чтобы повесить его; это был храбрый Лефевр, раздавший порох 14 июля; женщины или мужчины, переодетые женщинами, действительно повесили его на маленькой колокольне; одна из них или один из них перерезал веревку, и он упал, только оглушенный, в зал, расположенный на двадцать пять футов ниже.

Ни Бэйли, ни Лафайет еще не прибыли. Майяр идет к помощнику генерал-майора и говорит ему, что есть только один способ положить конец всему: он, Майяр, поведет женщин в Версаль. Это путешествие даст время собрать силы. Он спускается, бьет в барабан, заставляет себя услышать. Холодно трагическое лицо высокого чернокожего мужчины произвело хорошее впечатление на Гreve; он показался осторожным человеком, способным довести дело до конца. Женщины, которые уже уходили с городскими пушками, провозгласили его своим капитаном. Он встал во главе колонны с восемью или десятью барабанами; за ним следовали семь или восемь тысяч женщин, несколько сотен вооруженных мужчин и, наконец, в арьергарде, рота добровольцев из Бастилии.

Добравшись до Тюильри, Майяр хотел идти по набережной, а женщины хотели торжественно пройти под часами, через дворец и сад. Майяр, соблюдая правила, сказал им, что это дом короля, сад короля, и пройти через них без разрешения означает оскорбить короля. Он вежливо подошел к швейцарцу и сказал, что дамы хотят только пройти, не причиняя ни

малейшего ущерба. Швейцарец вытащил шпагу, бросился на Майяра, который вытащил свою... К счастью, вратарь ударил его палкой, швейцар упал, а другой мужчина приставил ему к груди штык. Майяр остановил его, хладнокровно обезоружил обоих мужчин и забрал штык и мечи.

Утро продвигалось, голод усиливался. В Шайо, Отей, Севр было очень трудно помешать голодным беднякам воровать еду. Майяр не терпел этого. Отряд в Севре был на грани истощения; там не было ничего, даже купить; все двери были закрыты, кроме одной, принадлежащей больному, который остался дома; Майяр заплатил ему и получил несколько кувшинов вина. Затем он выбрал семерых мужчин и поручил им привести пекарей из Севра со всем, что у них было. Всего было восемь хлебов, тридцать две фунта на восемь тысяч человек... Их разделили и потащились дальше. Усталость заставила большинство женщин бросить оружие. Майяр дал им понять, что, желая посетить короля, Ассамблею, тронуть их, смягчить, нельзя прибывать в таком воинственном снаряжении. Пушки были поставлены в хвост и как бы спрятаны. Мудрый судебный пристав хотел *прибыть без скандала*, как говорится, во дворец. У входа в Версаль, чтобы подтвердить мирные намерения, он дал женщинам сигнал спеть арию из оперы «Генрих IV».

Жители Версаля были в восторге и кричали: «Да здравствуют наши парижанки!» Посторонние зрители не видели ничего предосудительного в этой толпе, которая пришла просить помощи у короля. Один человек, не особо благосклонный к Революции, геновский житель Дюмон, который обедал во дворце Петых конюшен и смотрел из окна, сам сказал: «Все эти люди просили только хлеба».

В тот день в Ассамблее царила бурная атмосфера. Король, не желая *утверждать* ни Декларацию прав, ни декреты от 4 августа, ответил, что конституционные законы можно оценивать только в совокупности, но что он все же *соглашается* на них ввиду тревожных обстоятельств и при условии, что исполнительная власть вернет себе всю свою силу.

«Если вы примете письмо короля, — сказал Робеспьер, — то конституции больше не будет, не будет права на ее существование». Дюпорт, Грегуар и другие депутаты высказались в том же духе. Петион напомнил об оргии телохранителей и обвинил их. Один депутат, который сам служил в их рядах, просил, ради их чести, сформулировать обвинение и преследовать виновных. «Я буду обвинять, — сказал Мирабо, — и я подпишу, если Ассамблея объявит, что *только* личность короля неприкосновенна». Это означало указать на королеву. Все Ассамблея отступила: предложение было снято; в такой день оно могло бы привести к убийству.

Сам Мирабо не был спокоен из-за своих колебаний. Он подошел к председателю и прошептал ему: «Мюнье, Париж наступает на нас... поверьте мне, не верьте мне, сорок тысяч человек наступают на нас... Если вы плохо себя чувствуете, поднимитесь в замок и передайте им это сообщение, нет ни минуты терять... — Париж идет? — сухо спросил Мунье (он считал Мирабо одним из организаторов движения); — Ну и хорошо! Тем скорее мы станем республикой».

Ассамблея решает отправить к королю просьбу о безоговорочном принятии Декларации прав. В три часа Тарге объявляет, что к воротам на авеню Париж подходит толпа.

Все знали об этом событии. Только король не знал. Он уехал утром, как обычно, на охоту; он бегал по лесам Мёдона. Его искали; тем временем звучал сигнал к сбору войск; гвардейцы садились на лошадей на плацу и прислонялись к воротам; фламандский полк стоял ниже, справа от них, возле авеню де Сё; еще ниже — драгуны; за воротами — швейцарцы.

Тем временем Майяр прибыл в Национальное собрание. Все женщины хотели войти. Ему с большим трудом удалось убедить их впустить только пятнадцать из них. Они встали у барьера, во главе с упомянутой выше французской гвардейкой, женщиной, которая на конце шеста несла баскский барабан, а посередине стоял гигантский судебный пристав в рваном черном костюме с мечом в руке. Солдат с раздражением взял слово и сказал Ассамблее, что утром, когда никто не мог найти хлеба у пекарей, он хотел зазвонить в колокол, что его чуть не повесили, что он обязан своим спасением сопровождавшим его дамам. «Мы пришли, — сказал он, — просить хлеба и наказания для телохранителей, которые оскорбили кокарду... Мы — хорошие патриоты; по дороге мы сорвали черные кокарды... Я с удовольствием сорву одну из них на глазах у Ассамблеи».

На что другой серьезно добавил: «Все должны будут носить патриотическую кокарду». Поднялся шум.

«А ведь мы все братья!» — сказал мрачный человек.

Майяр имел в виду заявление, сделанное накануне муниципалитетом Парижа: поскольку трехцветная кокарда *была принята в качестве символа братства*, она была единственной, которую должны были носить граждане.

Нетерпеливые женщины все вместе кричали: «Хлеба! Хлеба!» — Тогда Майяр начал рассказывать об ужасной ситуации в Париже, о конвоях, перехваченных другими городами или аристократами. «Они хотят, — сказал он, — заставить нас умереть. Мельник получил двести фунтов за то, чтобы не молоть, с обещанием давать столько же каждую неделю». — Ассамблея: «Назовите! Назовите!» — Именно в Ассамблее Грегуар рассказал об этом слухе; Майяр узнал об этом по дороге.

«Назовите!» Женщины кричали наугад: «Это архиепископ Парижа».

Робеспьер предпринял серьезную инициативу. Он один поддержал Майяра, сказал, что аббат Грегуар говорил об этом факте и, несомненно, предоставит информацию.

Другие члены Ассамблеи пытались умиловить или угрожать. Один депутат от духовенства, аббат или прелат, подошел, чтобы одна из женщин поцеловала ему руку. Она рассердилась и сказала: «Я не создана для того, чтобы целовать лапу собаке». Другой депутат, военный, награжденный крестом Святого Людовика, услышав, как Майяр сказал, что главным препятствием для принятия конституции является духовенство, вышел из себя и сказал, что он должен немедленно понести *exemplaire* наказание. Майяр, не испугавшись, ответил, что он не обвиняет ни одного члена Ассамблеи, что, без сомнения, духовенство ничего об этом не знает, что он считает, что оказывает им услугу, высказывая это мнение. Второй раз Робеспьер поддержал Майяра и успокоил женщин. Те, кто был снаружи, теряли терпение, боясь за своего оратора; среди них ходили слухи, что он погиб. Он вышел и показался на мгновение.

Майяр, возобновив речь, попросил Ассамблею предложить телохранителям возместить ущерб за оскорбление кокарды. Депутаты возражали... Майяр настаивал, не сдерживаясь в выражениях. Председатель Мунье призвал его к уважению к Ассамблее, неуклюже добавив, что те, кто хочет быть гражданами, могут ими быть по собственному желанию... Это дало повод Майярду; он воспользовался им и ответил: «Каждый должен гордиться званием гражданина. И если в этом августейшем собрании есть кто-то, кто позорит его, он должен быть исключен». Ассамблея зашумела, зааплодировала: «Да, мы все граждане».

В этот момент гвардейцы принесли трехцветную кокарду. Женщины закричали: «Да здравствует король! Да здравствуют господа гвардейцы!» Майяр, которому было труднее успокоиться, настаивал на необходимости отправить обратно фламандский полк.

Мунье, надеясь, что теперь он сможет их отпустить, сказал, что Ассамблея не пренебрегла обеспечением продовольствием, король тоже; что будут искать новые средства, что они могут уходить с миром. Майяр не сдавался, говоря: «Нет, этого недостаточно».

Тогда один из депутатов предложил обратиться к королю с просьбой о помощи в связи с бедственным положением Парижа. Ассамблея приняла это решение, и женщины, воодушевленные этой надеждой, бросились к депутатам, целуя их в шею, и обнимали президента, несмотря на его сопротивление. «Но где же Мирабо? — повторяли они. — Мы хотим увидеть нашего графа Мирабо!»

Мунье, целуемый, окруженный, почти задыхающийся, печально отправился в путь с делегацией и толпой женщин, которые упорно следовали за ним. «Мы шли пешком по грязи, — говорит он, — лил проливной дождь. Мы пробирались через толпу плохо одетых, шумных, странно вооруженных людей». Телохранители патрулировали улицы и мчались галопом. Увидев Мунье и депутатов с странной свитой, сопровождавшей их в знак уважения, телохранители, по-видимому, приняли их за лидеров восстания, захотели разогнать эту толпу и промчались сквозь нее. Неприкосновенные спаслись, как смогли, и убежали в грязь. Судите сами о ярости народа, который полагал, что с ними он будет уважаем!

Две женщины были ранены, по словам некоторых свидетелей, даже саблём^[3]. Однако народ пока ничего не предпринял. С трех до восьми часов вечера он был терпелив, неподвижен, за исключением криков и освистываний, когда мимо проходили ненавистные в своих униформах гвардейцы. Один ребенок бросал камни.

Король был найден; он не спеша вернулся из Мёдона. Мунье, наконец узнанный, был принят вместе с двенадцатью женщинами. Он рассказал королю о бедствии Парижа, а министрам — о требовании Ассамблеи, которая ожидала безоговорочного принятия Декларации прав и других конституционных статей. Король, однако, с добротой выслушал женщин. Молодая Луиз Шабри была назначена выступить с речью, но перед королем ее эмоции были настолько сильны, что она едва смогла сказать: «Хлеба!» — и упала в обморок. Король, глубоко тронутый, приказал ей оказать помощь, и когда она уходила, хотела поцеловать ему руку, он обнял ее как отец.

Она вышла из зала королевской сторонницей и кричала: «Да здравствует король!» Те, кто ждал на площади, в ярости стали говорить, что ей заплатили; она тщетно выворачивала карманы, показывая, что у нее нет денег; женщины накинули ей на шею подвязки, чтобы задушить ее. Ее с трудом вытащили оттуда. Ей пришлось вернуться в замок, чтобы получить от короля письменный приказ привезти зерно и устранить все препятствия для снабжения Парижа.

На просьбы президента король спокойно ответил: «Вернитесь в девять часов». Мунье тем не менее остался в замке, у дверей совета, настаивая на ответе, стуча час за часом, до десяти вечера. Но ничего не было решено.

Министр Парижа, г-н де Сен-Прист, узнал об этом очень поздно (что доказывает, насколько неожиданным и спонтанным было отъезд в Версаль). Он предложил, чтобы королева уехала в Рамбуйе, а король остался, сопротивлялся и, в случае необходимости, сражался; один только отъезд королевы успокоил бы народ и избавил от необходимости сражаться. М.

Неккер хотел, чтобы король отправился в Париж, чтобы он доверился народу, то есть был откровенным, искренним, принял революцию. Людовик XVI, не приняв никакого решения, отложил совет, чтобы посоветоваться с королевой.

Она была готова уехать, но вместе с ним, не оставляя одного столь непредсказуемого человека; имя короля было ее оружием для начала гражданской войны. Около семи часов Сен-Прист узнал, что г-н де Лафайет, ведомый Национальной гвардией, шел на Версаль. «Надо немедленно уезжать, — сказал он. — Король, возглавляя войска, пройдет без затруднений». Но его было невозможно к чему-либо решить. Он полагал (и совершенно ошибочно), что после его отъезда Ассамблея провозгласит королем герцога Орлеанского. Он также не хотел бежать, ходил быстрыми шагами, время от времени повторяя: «Беглый король! Беглый король!» Однако королева настаивала на отъезде, и был отдан приказ приготовить кареты. Но было уже слишком поздно.

Один парижский ополченец, которого группа женщин против его воли провозгласила своим лидером и который, воодушевленный дорогой, оказался в Версале более горячим, чем все остальные, рискнул пройти за спины телохранителей; там, увидев закрытые ворота, он залаял на часового, стоящего внутри, и пригрозил ему штыком. Лейтенант гвардии и еще двое вытащили сабли, бросились в галоп и начали преследовать его. Человек бежал со всех ног, хотел добежать до барака, наткнулся на бочку, упал и продолжал звать на помощь. Всадник догнал его, когда гвардейцы Версаля не смогли больше сдерживаться; один из них, виноторговец, вышел из рядов, прицелился, выстрелил и остановил его; он сломал руку, в которой тот держал поднятый шпагу.

Д'Эстен, командир этой национальной гвардии, был в замке, полагая, что уедет вместе с королем. Лекоинтр, подполковник, остался на месте, просил приказы у муниципалитета, который их не давал. Он обоснованно опасался, что эта голодная толпа начнет бегать по городу, чтобы прокормиться. Он пошел к ним, спросил, сколько нужно продовольствия, обратился к муниципалитету, но получил лишь немного риса, что было ничтожно мало для такого количества людей. Тогда он велел искать везде и, благодаря своему похвальным умственным способностям, немного облегчил положение народа.

В то же время он обратился к фламандскому полку, спросил офицеров и солдат, будут ли они стрелять. На них уже давило гораздо более сильное влияние. Женщины бросились к ним и умоляли не причинять вреда народу. Тогда появилась одна из них, которую мы еще не раз увидим, которая, по-видимому, не шла по грязи вместе с другими, но, вероятно, пришла позже и сразу бросилась сквозь ряды солдат. Это была милая мадемуазель Терион де Мерикур, жительница Льежа, живая и вспыльчивая, как и многие женщины Льежа, которые участвовали в революциях XV века и доблестно сражались против Карла Смелого. Острая, оригинальная, странная, в своей амазонской шляпе и красном сюртуке, с саблей на боку, говорящая одновременно, беспорядочно, но красноречиво, на французском и лиежском диалектах... Мы смеялись, но уступали... Бурная, очаровательная, страшная, она не чувствовала никаких препятствий...

Териона, вторгшись в этот бедный фламандский полк, обратил его в свою веру, так хорошо его обезоружила, что он братски раздавал свои патроны национальным гвардейцам Версаля.

Тогда д'Эстенг приказал им отступить. Некоторые ушли, другие ответили, что не уйдут, пока гвардейцы не уйдут первыми. Гвардейцам приказали пройти. Было восемь часов, вечер был очень мрачным. Народ следовал за ними, подгоняя гвардейцев криками. Они держали сабли в руках и пробивали себе дорогу. Те, кто был в конце колонны, более затрудненные, чем

остальные, стреляли из пистолетов; трое гвардейцев были ранены, один в щеку, двое других получили пули в их одежду. Их товарищи ответили, тоже стреляя. Телохранители ответили огнем из мушкетов.

Другие гвардейцы входили во двор, окружали д'Эстена, просили боеприпасы. Он сам был удивлен их энтузиазмом, смелостью, которую они проявляли, оказавшись в одиночестве среди войск: «Настоящие мученики энтузиазма», — сказал он позже королеве.

Лейтенант из Версаля заявил артиллерийскому охраннику, что, если тот не даст пороха, он выстрелит ему в голову. Тот выдал бочку, которую разбили на площади, и зарядили пушки, нацелившиеся на рампу, чтобы обстрелять с фланга войска, все еще прикрывавшие замок, и телохранителей, возвращавшихся на площадь.

Люди из Версаля проявили такую же твердость и с другой стороны замка. Пять карет подъехали к воротам, чтобы выехать; говорили, что это королева уезжает в Трианон. Швейцар открыл ворота, гвардеец закрыл. «Ее Величеству будет опасно удаляться от замка», — сказал командир. Кареты вернулись под конвоем. Прохода больше не было. Король был пленником.

Тот же командир спас телохранителя, которого толпа хотела разорвать на куски за то, что он стрелял в народ. Он поступил так хорошо, что человека оставили в живых; довольствовались лошадью, которую разделали; начали жарить ее на плацу, но толпа была слишком голодна; ее съели почти сырой.

Шел дождь. Толпа укрывалась, где могла; одни ворвались в ворота Больших конюшен, где находился фламандский полк, и смешались там с солдатами. Другие, около четырех тысяч человек, остались в Ассамблее. Мужчины были довольно спокойны, но женщины с нетерпением переносили это бездействие; они говорили, кричали, суеились. Только Майяр мог заставить их замолчать, и ему удавалось это, только обращаясь с речью к Ассамблее.

Не помогало успокоить толпу то, что телохранители подошли к драгунам, которые стояли у ворот Ассамблеи, и спросили, не помогут ли они им захватить орудия, угрожавшие замку. Толпа бросилась на них, но драгуны помогли им сбежать.

В восемь часов была сделана еще одна попытка. Принесли письмо от короля, в котором, не упоминая о Декларации прав, он смутно обещал свободное обращение зерна. Вероятно, в этот момент в замке преобладала идея бегства. Не отвечая Мунье, который все еще стоял у дверей совета, отправили это письмо, чтобы занять ожидающую толпу.

Странное явление усугубило страх двора. Вошел молодой человек из народа, плохо одетый, весь измотанный... Все удивились... Это был герцог Ришелье, который в этой одежде смешался с толпой, с этим новым потоком людей, который ушел из Парижа; он покинул их на полпути, чтобы предупредить королевскую семью; он слышал ужасные слова, страшные угрозы, от которых волосы вставали дыбом... Говоря это, он был так бледен, что все побледнели...

Сердце короля начало слабеть; он чувствовал, что королева в опасности. Несмотря на то, что его совесть не одобряла законодательную деятельность философов, в десять часов вечера он подписал Декларацию прав.

Мунье наконец смог уйти. Он спешил вернуться на пост председателя до прибытия этой большой армии из Парижа, о планах которой никто не знал. Он вернулся, но Ассамблеи уже не было; она закрыла заседание; толпа, становящаяся все более шумной и требовательной,

потребовала снизить цены на хлеб и мясо. Мунье обнаружил на своем месте, в кресле президента, высокую женщину с хорошими манерами, которая держала колокольчик и с сожалением спустилась вниз. Он отдал приказ собрать депутатов; в ожидании этого он объявил народу, что Фой только что принял статьи конституции. Женщины, теснившиеся вокруг него, просили предоставить им копию; другие говорили: «Но, господин президент, будет ли это выгодно? Получат ли бедные люди Парижа хлеб?» — Другие: «Мы очень голодны. Мы сегодня не ели». Мунье велел пойти за хлебом к пекарям. Со всех сторон принесли еду. Они начали с большим шумом есть в зале.

Женщины, поедая еду, разговаривали с Мунье: «Но, дорогой президент, почему же вы наложили это гнусное *вето*? Берегитесь лампы!» Мунье твердо ответил им, что они не в состоянии судить, что их обманывают, что он предпочитает рисковать жизнью, чем предать свою совесть. Этот ответ им очень понравился; с тех пор они проявляли к нему большое уважение и дружбу.

Только Мирабо мог быть услышан, перекрыть шум. Но он не заботился об этом. Конечно, он был обеспокоен. Вечером, по словам нескольких свидетелей, он прогуливался среди народа с большим саблей, говоря тем, кого встречал: «Дети мои, мы за вас». Затем он пошел спать. Дюмон Женеуаз пошел за ним и привел его в Ассамблею. Как только он появился, он громким голосом сказал: «Я хотел бы знать, как можно так нагло мешать нашим заседаниям... Господин президент, обеспечьте уважение к Ассамблее!» Женщины закричали «Браво!». Наступило небольшое затишье. Чтобы скоротать время, возобновили обсуждение уголовных законов.

Я был на галерее (говорит Дюмон), где рыбачка действовала с высшей властью и руководила сотней женщин, в основном девушек, которые по ее сигналу кричали или молчали. Она фамильярно называла депутатов по имени или спрашивала: «Кто там говорит? Заставьте этого болтуна замолчать! Дело не в этом! Дело в том, чтобы получить хлеб! Пусть лучше выступит наша маленькая мама Мирабо...» И все остальные кричали: «Наша маленькая мама Мирабо!» Но он не хотел говорить.

Г-н де Лафайет, выехавший из Парижа между пяти и шестью часами, прибыл только после полуночи. Нам нужно вернуться назад и проследить за ним с полудня до полуночи.

Около одиннадцати часов, узнав о вторжении в мэрию, он отправился туда, обнаружил, что толпа рассеялась, и начал диктовать депешу для короля. Национальная гвардия, как оплачиваемая, так и неоплачиваемая, заполняла площадь Грев; из ряда в ряд говорили, что нужно идти в Версаль. Лафайетт как ни старался и что ни говорил, его увлекли.

В замке ждали в величайшем нетерпении. Считали, что Лафайетт притворяется, что его заставили, но что он воспользуется обстоятельствами. В одиннадцать часов хотели еще раз проверить, рассеялась ли толпа и смогут ли кареты проехать через ворота Дракона. Национальная гвардия Версаля стояла на страже и закрывала проход.

Королева, впрочем, не хотела уезжать одна. Она справедливо считала, что нигде не будет в безопасности, если разлучится с королем. Около двухсот дворян, среди которых было много депутатов, предложили ей свою защиту и попросили у нее разрешения, чтобы взять лошадей из ее конюшен. Она дала им разрешение на случай, как она сказала, если король окажется в опасности.

Перед тем как войти в Версаль, Лафайетт заставил всех повторить клятву верности закону и королю. Он сообщил о своем прибытии, и король ответил, что с удовольствием встретится с ним, так как только что принял его Декларацию прав.

Лафайет вошел в замок один, к большому удивлению стражи и всех остальных. В Око-быка один придворный воскликнул: «Вот и Кромвель!». Лафайет ответил: «Месье, Кромвель не вошел бы один».

Король передал Национальной гвардии внешнюю охрану замка; телохранители сохранили за собой внутреннюю. Даже внешняя охрана не была полностью доверена Лафайету. Когда один из его патрулей захотел пройти в парк, ему отказали в пропуске через ворота. Парк был занят телохранителями и другими войсками; до двух часов ночи они ждали короля на случай, если он все-таки решится бежать. Только в два часа, успокоенные Лафайетом, им сообщили, что они могут уезжать в Рамбуйе.

В три часа Ассамблея закрыла заседание. Народ рассеялся, устроившись ночевать, как мог, в церквях и других местах. Майяр и многие женщины, в том числе Луизон Шабри, уехали в Париж вскоре после прибытия Лафайета, увезти с собой декреты о зерне и Декларацию прав.

Лафайет с большим трудом нашел жилье для своих гвардейцев; промокшие, измученные, они пытались высушиться и поесть. Сам он, наконец, полагая, что все успокоилось, пошел в отель Ноайи и заснул, как спится после двадцати часов напряжения и волнений.

Многие люди не спали. Это были в основном те, кто уехал из Парижа вечером и не испытал усталости предыдущего дня. Первая экспедиция, в которой доминировали женщины, была очень спонтанной, очень наивной, если можно так выразиться, обусловленной потребностями, и не привела к кровопролитию. Майяр имел честь сохранить в ней некоторый порядок даже в самом беспорядке. Естественное *crescendo*, которое всегда наблюдается в таких волнениях, не позволяло верить, что вторая экспедиция пройдет так же. Правда, она была осуществлена на глазах у национальной гвардии и как бы в согласии с ней. Тем не менее, там были люди, решившие действовать без нее; многие из них были яростными фанатиками, которые хотели убить королеву. Около шести часов утра эти люди из Парижа и Версаля (последние были самыми яростными) ворвались в королевские апартаменты, несмотря на охрану, которая убила пятерых из народа; семь охранников были убиты.

Королева подверглась настоящей опасности и спаслась, убежав в комнату короля. Ее спас Лафайет, который вовремя прибежал с французскими гвардейцами.

Когда король появился на балконе, вся толпа закричала: «Король в Париже!»

Королева была вынуждена появиться там. Лафайетт подошел к ней и, рискуя своей жизнью, поцеловал ей руку. Удивленный и тронутый народ увидел в ней только жену и мать и зааплодировал.

Любопытно! Политики, упрямые люди, особенно те, кто хотел сделать герцога Орлеанского генерал-лейтенантом, чрезвычайно боялись переезда короля в Париж. Они считали, что для Людовика XVI это был шанс вновь стать популярным. Если бы королева (убитая или бежавшая) не последовала за ним, парижане, скорее всего, вновь полюбили бы короля. Они всегда испытывали слабость к этому полному человеку, который ни в коем случае не был

злым и который, несмотря на свою полноту, имел вид блаженного и отеческого добродушия, что вполне соответствовало вкусам толпы. Выше мы видели, что дамы из рынка называли его *добрым папой*; это было мнение всего народа.

Король пригласил Ассамблею в замок. На призыв откликнулись менее сорока депутатов. Большинство были нерешительны и остались в зале. Народ, заполнивший трибуны, закрепил их нерешительность; при первом же слове о том, чтобы отправиться на заседание в замок, он поднял крики. Тогда Мирабо встал и, по своему обыкновению, прикрывая гордыми словами свое повиновение народу, сказал, что «свобода Ассамблеи будет поставлена под угрозу, если она будет заседать во дворце королей, что не достойно ее покидать место своих заседаний, что достаточно одной делегации». Молодой Барнав поддержал его. Председатель Мунье тщетно возражал.

Наконец, стало известно, что король согласился отправиться в Париж; Ассамблея, по предложению Мирабо, решила, что в течение текущей сессии она неотделима от короля.

День продвигается. Уже почти час... Надо уходить, покидать Версаль... Прощай, старая монархия!

Сто депутатов окружают короля, целая армия, весь народ. Он удаляется от дворца Людовика XIV, чтобы никогда больше не вернуться.

Вся эта толпа движется, она уходит в Париж, перед королем и за ним. Мужчины, женщины идут, как могут, пешком, верхом, в фургонах, на найденных телегах, на лафетах пушек. С удовольствием встретили большой конвой с мукой, что было хорошо для голодающего города. Женщины несли на копьях большие буханки хлеба, другие — ветки тополя, уже пожелтевшие от октября. Они были очень веселы, милы по-своему, за исключением нескольких насмешек в адрес королевы. «Мы везем, — кричали они, — пекаря, пекарьшу и маленького подмастерье». Все они думали, что с королем никогда не умрут с голоду. Все они были еще роялистами и очень радовались, что наконец-то этот *добрый папа* попал в надежные руки; он не был очень умным, не сдержал своего слова; в этом была вина его жены; но, оказавшись в Париже, он обязательно найдет хороших женщин, которые будут ему давать лучшие советы.

Все это было весело, грустно, бурно, радостно и мрачно одновременно. Люди надеялись, но небо не было на их стороне. Погода, к сожалению, не способствовала празднику. Лил проливной дождь, люди шли медленно, по глубокой грязи. Время от времени многие, в знак радости или чтобы разрядить оружие, стреляли из ружей.

Королевская карета, сопровождаемая эскортом, с Лафайетом у двери, двигалась как гроб. Королева была обеспокоена. Было ли безопасно ей прибыть? Она спросила Лафайета, что он об этом думает, а он спросил Моро де Сен-Мери, который, будучи мэром в знаменитые дни взятия Бастилии, хорошо знал местность. Тот ответил следующими многозначительными словами: «Я сомневаюсь, что королева прибудет в Тюильри одна, но, как только она окажется в мэрии, она вернется».

Вот король в Париже, в единственном месте, где он должен быть, в самом сердце Франции. Будем надеяться, что он будет достоин этого.

Революция 6 октября, необходимая, естественная и законная, если таковая когда-либо была, спонтанная, непредвиденная, по-настоящему народная, принадлежит прежде всего женщинам, как революция 14 июля принадлежит мужчинам. Мужчины взяли Бастилию, а женщины взяли короля.

1 октября все было испорчено дамами Версаля. 6 октября все было исправлено женщинами Парижа.

VI

ЖЕНЩИНЫ В ФЕДЕРАЦИИ (1790)

.

«Так закончился лучший день в нашей жизни». Эти слова, которые федераты одной деревни написали вечером этого великого национального праздника в конце своего протокола, я был соблазнен написать сам, когда в 1847 году я закончил рассказ о федерациях. Ничего подобного для меня больше не повторится. Я получил свою долю в этом мире, поскольку первым имел счастье найти в документах и воспроизвести в своих рассказах эти великие объединения народа.

Федерации провинций, департаментов, городов и деревень позаботились о том, чтобы сами записать и рассказать свою историю. Они писали ее своей матери, Национальному собранию, верно, наивно, часто в грубой, детской форме; они говорили, как могли; кто умел писать, тот и писал. В деревнях не всегда можно было найти умелого писца, достойного зафиксировать эти события в памяти. Доброжелательность восполняла этот недостаток... Настоящие памятники зарождающегося братства, бесформенные, но спонтанные, вдохновленные действия Франции, вы навсегда останетесь свидетелями сердец наших отцов, их восторга, когда они впервые увидели трижды любимое лицо родины.

Я обнаружил все это, целое, горячее, как вчера, спустя шестьдесят лет, когда открыл эти бумаги, которые мало кто читал. При первом же открытии я был охвачен чувством уважения; я почувствовал нечто необычное, уникальное, что невозможно не понять. Эти восторженные рассказы, адресованные родине (которую представляла Ассамблея), — это любовные письма.

Ничего официального или заказанного. Очевидно, что говорит сердце. То, что в них можно найти искусства, риторики, декламации, — это как раз отсутствие искусства, это смущение молодого человека, который не знает, как выразить самые искренние чувства, который использует слова из романов, за неимением других, чтобы выразить настоящую любовь. Но время от времени слово, вырванное из сердца, протестует против этой беспомощности языка и позволяет оценить истинную глубину чувства... Все это многословно; эх, в такие моменты, как же закончить? Как удовлетворить себя? Они были очень озабочены материальными деталями: ни одна бумага не была достаточно красивой, ни одна бумага не была достаточно великолепной, не говоря уже о роскошных маленьких трехцветных ленточках для переплета тетрадей... Когда я впервые увидел их, блестящие и почти не поблекшие, я вспомнил, что Руссо говорил о том, с какой удивительной тщательностью он писал, украшал и оформлял рукописи своей «Жюли»... Иными были мысли наших отцов, их заботы, их тревоги, когда из мимолетных, несовершенных предметов любовь возвысилась в них до этой вечной красоты!

В этих первоначальных попытках новой религии все старые известные вещи, все знаки прошлого, символы, почитавшиеся когда-то, либо бледнеют, либо исчезают. То, что остается, например, церемонии старого культа, призванные освятить эти новые праздники, воспринимаются как нечто второстепенное. В этих огромных собраниях, где люди всех

классов и всех конфессий становятся единым сердцем, есть нечто, более священное, чем алтарь (). Никакой особый культ не придает святости тому, что святее всего: человеку, братающемуся перед Богом.

Все старые символы бледнеют, а новые, которые пытаются использовать, имеют мало значения. Клянутся ли на старом алтаре перед Святыми Дарами, клянутся ли перед холодным образом абстрактной Свободы, истинный символ находится в другом месте. Это красота, величие, вечное очарование этих праздников: символ в них живой.

Этот символ для человека – это сам человек. Когда рушится весь мир условностей, ему полагается святое уважение как истинному образу Бога. Он не считает себя Богом, в нем нет тщеславного гордости. Человек предстает здесь не как повелитель или победитель, а в гораздо более серьезных и трогательных условиях. Благородные гармонии семьи, природы, родины достаточны, чтобы наполнить эти праздники религиозным, патетическим интересом.

Везде старик во главе народа, сидящий на первом месте, возвышающийся над толпой. А вокруг него девушки, как венец из цветов. На всех этих праздниках милый батальон идет в белых платьях, с поясом *нации* (то есть трехцветным). Здесь одна из них произносит несколько благородных, очаровательных слов, которые завтра сделают героев. В другом месте (в гражданском шествии в Роме в Дофине) шла красивая девушка, держа в руке пальмовую ветвь и надпись: *Лучшему гражданину!* Многие вернулись в мечтательном настроении.

Дофине, серьезная, доблестная провинция, которая открыла Революцию, создала многочисленные федерации и из всей провинции, и из городов, и из деревень. Сельские коммуны на границе, под ветром Савойи, в двух шагах от эмигрантов, пахая рядом со своими ружьями, устроили еще более красивые праздники. Батальон вооруженных детей, батальон вооруженных женщин, батальон вооруженных девушек. В Мобеке они шли стройным строем, с флагом во главе, держа в руках обнаженные мечи и манипулируя ими с той грациозной живостью, которая присуща только французским женщинам.

Я уже рассказывал о героической инициативе женщин и девушек Анже. Они хотели уйти, последовать за молодой армией Анжу, Бретани, которая направлялась в Ренн, принять участие в этом первом крестовом походе за свободу, кормить бойцов, лечить раненых. Они клялись никогда не выходить замуж за нелояльных граждан, любить только доблестных, связывать свою жизнь только с теми, кто отдал свою жизнь Франции.

Так они вдохновляли людей с 88 года. И теперь, в федерациях, в июне, в июле 90 года, после того как было преодолено столько препятствий, на этих праздниках победы никто не был так взволнован, как они. Зимой, будучи полностью лишенными какой-либо государственной защиты, семьи подвергались стольким опасностям! На этих больших, вселяющих уверенность собраниях они обнимали надежду на спасение. Бедное сердце, однако, все еще было переполнено прошлым... будущим!... но они хотели только одного будущего — спасения родины! Как видно из всех письменных свидетельств, они проявляли больше энтузиазма, больше рвения, чем сами мужчины, больше нетерпения принести гражданскую присягу.

Женщин отдаляют от общественной жизни; слишком часто забывают, что на самом деле они имеют на нее право больше, чем кто-либо другой. Для них ставка гораздо выше, чем для нас; мужчина рискует только своей жизнью, а женщина — своим ребенком... Она гораздо больше заинтересована в том, чтобы быть в курсе событий, предвидеть их. В одинокой и оседлой жизни, которую ведут большинство женщин, они с тревожными мечтами следят за

кризисами в стране, за движениями армий... Вы думаете, что она находится дома? Нет, она в Алжире, она участвует в лишениях, в походах наших молодых солдат в Африке, она страдает и сражается вместе с ними.

В какой-то деревне мужчины собрались одни в большом здании, чтобы вместе обратиться с обращением к Национальному собранию. Они подходят, слушают, входят со слезами на глазах, они тоже хотят участвовать. Тогда им перечитывают обращение; они присоединяются к нему всем сердцем. Это глубокое единение семьи и родины проникло в души всех присутствующих неизвестным доселе чувством.

Никто на этих больших праздниках не был просто свидетелем; все были участниками, мужчины, женщины, старики, дети, все, от столетних до новорожденных; и последние больше, чем другие.

Его приносили, как живой цветок, среди цветов урожая. Его мать приносила его в жертву, кладя на алтарь. Но он не только пассивно играл роль жертвы, он был также активен, он считался как личность, он давал гражданскую клятву устами своей матери, он требовал своего достоинства как человека и француза, он уже был введен во владение родиной, он вступал в надежду.

Да, ребенок, будущее, был главным действующим лицом. Сама коммуна, на празднике в Дофине, коронуется своим главным магистратом, которым является маленький ребенок. Такая рука приносит счастье. Те, кого я вижу здесь, под нежным взглядом своих матерей, уже вооруженные, полные энтузиазма, дайте им всего два года, чтобы им было пятнадцать, шестнадцать лет, и они уйдут: прозвучал 92 год; они следуют за своими старшими в Жеммапе. Эти, еще меньшие, чьи руки кажутся такими слабыми, — это солдаты Аустерлица... Их руки принесли удачу; они исполнили это великое предзнаменование, они увенчали Францию!... Сегодня она, слабая и бледная, сидит под этой вечной короной и внушает уважение народам.

Великое, счастливое поколение, родившееся в такое время, первый взгляд которого упал на это величественное зрелище! Дети, принесенные, благословленные у алтаря родины, посвященные своими плачущими, но смиренными, героическими матерями, отданные ими Франции... Ах! Когда человек рождается таким образом, он уже никогда не может умереть... В тот день вы получили эликсир бессмертия. Даже те из вас, кого история не упомянула, не менее наполняют мир своим живым безымянным духом, великой общей мыслью, которую они несли по всей земле...

Я не верю, что в какую-либо эпоху сердце человека было более широким, более обширным, чем в ту, когда различия классов, состояний и партий были наиболее забыты. Особенно в деревнях больше нет ни богатых, ни бедных, ни дворян, ни простолюдинов; продовольствие общее, столы общие. Социальные разделения, раздоры исчезли; враги примирились, противостоящие секты побратились, верующие, философы, протестанты, католики.

В Сен-Жан-дю-Гар, недалеко от Але, священник и пастор обнялись у алтаря. Католики привели протестантов в церковь; пастор занял первое место в хоре. Протестанты оказали те же почести священнику, который, заняв у них самое почетное место, слушал проповедь министра. Религии братаются на том самом месте, где они сражались, у ворот Севенн, на могилах предков, которые убивали друг друга, на еще теплых кострах... Бог, так долго обвиняемый, наконец был оправдан... Сердца переполнились; проза была недостаточна, только поэтический взрыв мог облегчить столь глубокое чувство; священник спел гимн

Свободе; мэр ответил стихами из « »; его жена, уважаемая мать семейства, когда она вела своих детей к алтарю, также излила свое сердце в нескольких трогательных стихах.

Эта почти понтифическая роль женщины, достойной матери, не должна нас удивлять. Женщина — это гораздо больше, чем понтифик: она — символ и религия.

В другом месте это была девушка, молодая и чистая, которая своей девственной рукой из солнца, через горящее стекло, извлекла огонь, который должен был сжечь ладан на алтаре Родины.

Революция, возвращаясь к природе, к счастливым и наивным предчувствиям древности, не колебалась, доверив самые святыне функции той, кто, как высшая радость сердца, как душа семьи, как вечность человечества, сама является живым алтарем.

VII

ЖЕНЩИНЫ-ЯКОБИНКИ (1790)

.

В тот же день, 6 октября 89 года, когда Людовик XVI, покидая Версаль, подписал важнейший акт Революции, Декларацию прав, он направил королю Испании свой протест. С тех пор он принял решение бежать на австрийскую землю, чтобы вернуться с вооруженной силой. Этот план, рекомендованный Бретейлем, человеком Австрии, человеком Марии-Антуанетты, был поддержан епископом Памье, который убедил короля одобрить его и получил от него полномочия для Бретейля вести переговоры с иностранными державами; переговоры продолжил г-н де Ферсен, швед, который на протяжении многих лет был лично привязан к королеве, которую она специально вернула из Швеции и который был ей очень предан.

С какой бы стороны ни посмотреть на 90 год, везде видна огромная сеть, натянутая изнутри и снаружи против Революции. Если она не найдет энергичной силы объединения, она погибнет. Не невинные федерации вытянут ее из этой ситуации. Нужны гораздо более сильные объединения. Нужны якобинцы, объединения, контролирующие власть и ее агентов, действия священников и дворян. Такие общества формируются сами по себе по всей Франции.

Я вижу в неопубликованном акте из Руана, что 14 июля 1790 года три друга Конституции (так тогда назывались якобинцы) собрались в доме одной вдовы, богатой и уважаемой женщины города; они принесли ей гражданскую присягу. Кажется, что мы видим Катона и Марция у Лукаина:

Junguntur taciti contentique auspice Bruto.

Они с гордостью отправляют акт своего объединения в Национальное собрание, которое в то же время получает акт великого объединения Руана, где собрались депутаты из шестидесяти городов и полмиллиона человек.

Трое якобинцев — это священник, капеллан Консьержери, и два хирурга. Один из них привел своего брата, королевского печатника в Руане. Добавьте двух детей, племянника и племянницу дамы, и двух женщин, возможно, из числа ее клиентов или слуг. Все восемь приносят присягу в руки этой Корнелии, которая затем приносит присягу в одиночку.

Небольшая, но, похоже, полная компания. Дама (вдова купца или судовладельца) представляет крупные коммерческие состояния; печатник — промышленность; хирурги — способности, таланты, опыт; священник — саму Революцию; он не будет долго священником: именно он пишет акт, копирует его, уведомляет о нем Национальное собрание. Он является агентом дела, как дама является его центром. Благодаря ему это общество полно, хотя в нем нет фигуры, которая является движущей силой любого подобного общества, — адвоката, прокурора. Священник Дворца правосудия, Консьержерии, капеллан заключенных, исповедник казненных, вчера зависимый от парламента, сегодня якобинский и объявивший себя таковым в Национальном собрании, по своей смелости и активности он стоит трех адвокатов.

Не стоит удивляться тому, что дама была центром этого маленького общества. Многие женщины вступали в эти объединения, женщины очень серьезные, со всем пылом своих женских сердец, слепой горячностью, смешанной с любовью и идеями, духом прозелитизма, со всеми страстями средневековья на службе новой вере. Та, о которой мы здесь говорим, прошла серьезное испытание; она была еврейкой, которая видела, как вся ее семья обратилась в другую веру, а сама осталась иудейкой: потеряв мужа, а затем и ребенка (в результате ужасного несчастного случая), она, казалось, вместо всего приняла Революцию. Будучи богатой и одинокой, она, как я полагаю, легко поддавалась влиянию своих друзей, которые убедили ее принять новую систему и вложить в нее свое состояние, приобретая национальные ценности.

Почему эта небольшая община создала свою отдельную федерацию? Дело в том, что Руан в целом кажется ей слишком аристократическим, что большая федерация шестидесяти городов, которые в ней объединены, с ее лидерами, господами д'Эстутевилем, д'Эрбувилем, де Севраком и т. д., эта федерация, смешанная с дворянством, не кажется ей достаточно чистой; наконец, потому что она была создана 6 июля, а не 14, в священный день взятия Бастилии. Поэтому 14 июля эти люди, гордо изолированные в своих домах, вдали от профанов и равнодушных, празднуют святой день. Они не хотят смешиваться с другими; в различных отношениях они являются элитой, как и большинство первых якобинцев, своего рода аристократией, аристократией денег, таланта, энергии, естественно конкурирующей с аристократией по рождению.

VIII

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В 90-Е ГОДЫ — ЭМАНЦИПАЦИЯ ЖЕНЩИН ПОДВАЛ ЯКОБИНЦЕВ

.

Право женщин на равенство, их право на влияние и политическую власть были заявлены в 90 году двумя очень разными людьми: один из них был красноречивым оратором, смелым и романтичным, другой — самым серьезным и авторитетным человеком того времени. Необходимо перенести читателя в ту бурную атмосферу, в которой оба они высказывали свои мысли.

Войдите в то самое место, откуда 12 июля началась Революция, в Пале-Рояль, в Цирк, который тогда занимал середину сада. Отойдите от этой возбужденной толпы, этих шумных

групп, этих толп женщин, посвятивших себя свободе природы. Пройдем через узкие, забытые, душные деревянные галереи; через этот темный проход, где мы спускаемся по пятнадцати ступенькам, мы попадаем в центр цирка.

Проповедуют! Кто бы мог ожидать этого в таком месте, на таком светском собрании, где смешались красивые женщины сомнительной репутации? На первый взгляд, можно подумать, что это проповедь среди девушек... Но нет, собрание более серьезное, я узнаю многих литераторов, академиков: у подножия трибуны я вижу г-на де Кондорсе.

Оратор, это действительно священник? По одежде, да; красивое лицо лет сорока, пламенная речь, иногда сухая и резкая, без помазания, дерзкий вид, немного фантазер. Проповедник, поэт или пророк, неважно, это аббат Фоше. Этот святой Павел говорит между двумя Теклами, одна из которых не отходит от него ни на шаг, которая, волей-неволей, следует за ним в клуб, к алтарю, настолько велика ее преданность; другая дама, голландка, с добрым сердцем и благородным духом, это мадам Палм Аэльдер, оратор женщин, проповедующая их эмансипацию.

Эти смутные стремления обрели четкую форму в ученых диссертациях прославленного секретаря Академии наук. 3 июля 1790 года Кондорсе четко сформулировал требование о *предоставлении женщинам гражданских прав*. В этом качестве друг Вольтера, последний из философов XVIII века, может по праву считаться одним из предшественников социализма.

Но если мы хотим увидеть женщин в полной мере участвующими в политической жизни, нам нужно пройти немного дальше от Пале-Рояль по улице Сен-Оноре. Блестящее объединение якобинцев того времени, в которое входили множество дворян и все литераторы эпохи, занимало церковь бывших монахов, а под церковью, в хорошо освещенной крипте, укрывалось братство рабочих, которым в определенные часы якобинцы объясняли Конституцию. В вопросах пропитания, общественной опасности эти рабочие приходят не одни: обеспокоенные женщины, матери семейств, подталкиваемые домашними страданиями, потребностями своих детей, приходят со своими мужьями, узнают о ситуации, спрашивают о бедах, о средствах их исправления. Многие женщины, либо без мужей, либо чьи мужья в это время на работе, приходят одни и обсуждают все сами. Первое и трогательное начало женских обществ.

Кто страдал от Революции больше, чем они? Кому месяцы и годы казались длиннее? Уже в то время они были более яростны, чем мужчины. Марат очень доволен ими (30 декабря 90 года); ему нравится противопоставлять энергию этих женщин из народа () в их подполье бесплодному болтовне якобинского собрания, которое суенилось наверху.



IX

САЛОНЫ. МАДАМ ДЕ СТАЛЬ.

Гений мадам де Сталь был поочередно подчинен двум учителям и двум идеям: до 89 года — Руссо, а с тех пор — Монтескье.

В 89 году ей было двадцать три года. Она оказывала всемогущее влияние на Неккера, своего отца, которого она безмерно любила и которым управляла своим энтузиазмом. Без своей горячей дочери женевский банкир никогда бы не зашел так далеко по пути революции. В то время она была полна энергии и уверенности; твердо верила в здравый смысл человечества. Она еще не была подвержена влиянию и не была ослаблена посредственными любовниками, которые с тех пор окружали ее. Мадам де Сталь всегда руководствовалась любовью. Ее любовь к отцу требовала, чтобы Неккер был первым среди мужчин; и на самом деле, на мгновение он поднялся очень высоко благодаря вере. Под вдохновением своей дочери, в чем мы не сомневаемся, он бросился в смелый эксперимент всеобщего избирательного права, рискованную меру в большой империи и среди столь неразвитого народа! Меру, совершенно не соответствующую его характеру и очень мало согласующуюся с доктринами, которые он излагал до и после этого.

Отец и дочь, вскоре испугавшись своей смелости, не замедлили отступить. А мадам де Сталь, окруженная фейантами, англоманами, поклонниками Англии, которую она совершенно не знала, стала и осталась блестящей, красноречивой, но в целом, если можно так сказать, посредственной личностью, которая так много занимала славу.

Мы же не колеблемся утверждать, что ее великая оригинальность заключалась в ее раннем периоде, а слава — в любви к отцу и в смелости, которую он ей привил. Ее посредственность была такова же, как и у ее духовных любовников, Нарбонов, Бенжамена Константа и т. д., которые, находясь в ее салоне под ее влиянием, тем не менее оказывали на нее влияние в частной жизни.

Вернемся к началу, к отцу и дочери.

Г-н Неккер, женевский банкир, женился на швейцарской девушке, до того времени бывшей гувернанткой, единственным недостатком которой было абсолютное совершенство. Молодая Неккер была подавлена своей матерью, чья жесткость контрастировала с ее легким, общительным и подвижным характером. Ее отец, который утешал ее и восхищался ею, стал объектом ее обожания. Говорят, что г-н Неккер часто хвалил старого Гиббона, и девушка хотела выйти за него замуж. Этот ребенок, уже ставший доверенным лицом и почти женой своего отца, перенял все его недостатки и достоинства: красноречие, пафос, чувствительность, пафос. Когда Неккер опубликовал свой знаменитый *отчет*, который был так по-разному оценен, ей однажды показали восторженную, красноречивую апологию; в ней было столько эмоций, что отец не мог ошибиться; он узнал в ней свою дочь. Ей тогда было шестнадцать лет.

Она любила своего отца как человека, восхищалась им как писателем, почитала его как идеал гражданина, философа, мудреца, государственного деятеля. Она не терпела никого, кто не считал Неккера богом: добродетельное, наивное безумие, более трогательное, чем смешное. Когда Неккер в день своего триумфа вернулся в Париж и появился на балконе мэрии между женой и дочерью, та поддалась полноте чувств и упала в обморок от счастья.

Ее сердце было столь же велико, сколь и ее талант. После бегства отца и потери своих первых надежд, перейдя от Руссо к Монтескье, к осторожным конституционным теориям, она оставалась романтической в любви; она хотела любить героя. Ее супруг, честный и холодный г-н де Сталь, посол Швеции, не соответствовал ее идеалам. Не найдя героя, которого могла бы полюбить, она положила на свою сильную, горячую душу и решила создать его сама.

Она нашла красивого, ловкого, смелого, остроумного мужчину, г-на де Нарбона. Независимо от того, было ли в нем много или мало героического начала, она верила, что этого будет

достаточно, если оно будет подкреплено ее сердцем. Она любила его прежде всего за героические качества, которые хотела в него вложить. Она любила его, надо сказать (ведь она была женщиной), за его смелость, его самонадеянность. Он был в плохих отношениях с двором, в плохих отношениях со многими салонами. Он был действительно великим сеньором, элегантным и обходительным, но плохо воспринимаемым своими, с неоднозначным характером. Что очень раздражало женщин, так это то, что шептались, что он был плодом инцеста Людовика XV с его дочерью. Это было вполне вероятно. Когда иезуиты изгнали Вольтера и его сторонников (д'Арженсона, Машо, который слишком много говорил о богатствах духовенства), нужно было найти способ устранить Помпадур, покровительницу этих новаторов. Дочь короля, живая и страстная, полька, как и ее мать, посвятила себя, как другая Юдифь, героическому делу, освященному целью. Она была необычайно бурной и страстной, помешанной на музыке, куда ее вел беспринципный Бомарше. Она овладела своим отцом и некоторое время управляла им, под носом у Помпадур. Согласно преданию, результатом этого стал этот красивый, остроумный, немного наглый мужчина, который при рождении принес с собой милую злодейство, чтобы смущать всех женщин.

Мадам де Сталь обладала одной очень жестокой для женщины чертой: она не была красива. У нее были крупные черты лица, особенно нос. У нее была довольно сильная фигура, кожа посредственного качества. Ее жесты были скорее энергичными, чем изящными; стоя с руками за спиной перед камином, она доминировала в салоне своей мужественной осанкой и сильным голосом, что сильно контрастировало с тоном ее пола и иногда заставляло немного усомниться в том, что она была женщиной. При этом ей было всего двадцать пять лет, у нее были очень красивые руки, красивая шея, как у Юноны, великолепные черные волосы, которые, ниспадая крупными локонами, подчеркивали ее грудь и даже относительно делали черты лица более нежными, менее мужественными. Но больше всего, что заставляло забыть обо всем, были ее глаза, уникальные, черные и полные пламени, сияющие гением, добротой и всеми страстями. Ее взгляд был целым миром. В нем читалось, что она была добра и великодушна как никто другой. Не было врага, который мог бы выслушать ее и не сказать, уходя, вопреки своей воле: «О, какая добрая, благородная, замечательная женщина!»

Однако давайте уберем слово «гениальность»; давайте сохраним это священное слово. Мадам де Сталь действительно обладала большим, огромным талантом, источником которого было ее сердце. Глубокая наивность и большая изобретательность, эти две выдающиеся черты гения, никогда не были ей присущи. Она принесла с собой в этом мире первобытное несоответствие элементов, которое не доходило до барокко, как у ее отца Неккера, но которое нейтрализовало значительную часть ее сил, мешало ей подняться и удерживало ее в пафосе. Неккеры были немцами, поселившимися в Швейцарии. Они были обогатившимися буржуа. Будучи немкой, швейцаркой и буржуазной, мадам де Сталь обладала чем-то не тяжелым, но сильным, плотным, не очень деликатным. Разница между ней и Жан-Жаком, ее учителем, такая же, как между железом и сталью.

Именно потому, что она оставалась буржуазной, несмотря на свой талант, богатство и благородное окружение, мадам де Сталь имела слабость обожать великих господ. Она не давала полного волю своему доброму и великодушному сердцу, которое полностью склонило бы ее на сторону народа. Ее суждения и мнения были сильно связаны с этим недостатком. Во всем в ней было что-то ложное. Она восхищалась, прежде всего, народом, который считала чрезвычайно аристократическим, Англией, почитая английскую аристократию, не зная, что она появилась совсем недавно, плохо зная ту историю, о которой

она постоянно говорила, нисколько не подозревая о механизме, с помощью которого Англия, постоянно черпая из низов, всегда создает аристократию. Ни один народ не умеет лучше делать старое.

Нужен был не кто иной, как великий мечтатель, великий очарователь мира, любовь, чтобы убедить эту страстную женщину в том, что можно поставить молодого офицера, легкомысленного и несерьезного, блестящего и легкомысленного человека, во главе такого великого движения. Гигантский меч Революции перешел, как залог любви, от женщины к молодому щеголю! Это было уже достаточно смешно. Еще более смешным было то, что она намеревалась совершить это рискованное дело в рамках осторожной политики, квазианглийской свободы, союза с Фейантами, партией, которая уже исчерпала себя, и с Лафайетом, который был почти исчерпан, так что это безумие не имело даже того, что иногда приводит к успеху безумие, а именно смелости быть безумным.

Робеспьер и якобинцы безосновательно предполагали, что Нарбон и мадам де Сталь были тесно связаны с Бриссо и Жирондой и что одни и другие договорились с двором, чтобы свергнуть Францию в войну и с помощью войны привести к контрреволюции.

Все это было выдумкой. Сегодня доказано, что, напротив, Жиронда ненавидела мадам де Сталь, что двор ненавидел Нарбона и содрогался от этого авантюрного плана войны, в которую хотели втянуть Францию; она справедливо полагала, что на следующий день, при первом же неудачном исходе, ее обвинят в измене и она окажется в ужасной опасности, что Нарбон и Лафайет не продержатся и минуты, что Жиронда вырвет у них из рук едва вынутые мечи и обратить их против короля.

«Видите ли, — говорил Робеспьер, — что план этой вероломной войны, с помощью которой нас хотят выдать королям Европы, исходит именно из посольства Швеции?» Это предполагало, что мадам де Сталь действительно была женой своего мужа, что она действовала от имени г-на де Сталя и по указанию своего двора; что было смешным предположением, когда все видели, как она публично была без ума от любви к Нарбонну и не терпела, чтобы он прославился. Бедная Коринна, увы, была двадцати пяти лет, она была очень неосторожной, страстной, щедрой, далекой от любой мысли о политическом предательстве. Те, кто знают ее характер, возраст и страсть лучше, чем знал их слишком тонкий логик, прекрасно поймут эту вещь, безусловно, досадную, аморальную, но в конце концов реальную: она действовала в интересах своего любовника, а не мужа. Она спешила прославить первого в революционном крестовом походе и мало беспокоилась о том, не обрушатся ли удары на августейшего господина шведского посла.

11 января Нарбон, быстро обойдя границы, прибыл, чтобы отчитаться перед Ассамблеей. Настоящий отчет придворного. Будь то поспешность или невежество, он нарисовал великолепную картину нашего военного положения, привел огромные цифры по численности войск, всевозможные преувеличения, которые позже были разбиты в пух и прах меморандумом Дюмурие.

Падение г-на де Нарбона, свергнутого жирондистами, внезапно превратило мадам де Сталь в ревностную роялистку. Она составила план побега для королевской семьи. Но она хотела, чтобы Нарбон, ее герой, получил за это честь. Двор не поверил, что можно доверять столь легкомысленным рукам. Укрывшись в Швейцарии во время Террора, после Термидора, будучи слепой сторонницей реакции, она внезапно изменила свое мнение в 96 году, поддержала Директорию и косвенно участвовала в государственном перевороте, который спас Республику.

Бонапарт ненавидел ее, полагая, что она помогала Неккеру в его последних работах, которые были совершенно противоположны его политике. Он не нашел лучшего способа очернить ее, чем сказать, что она сделала ему какое-то признание в любви, что было крайне маловероятно в то время, когда она была полностью отдана Бенжамену Констану, которого она подтолкнула к оппозиции Бонапарту. Известны смешные преследования со стороны повелителя Европы, изгнание мадам де Сталь, конфискация ее *Германии* и странные предложения, которые ей несколько раз делали. Бонапарт, будучи консулом, предложил ей вернуть два миллиона, одолженные в 89 году г-ном Неккером, а позже попросил ее написать для короля Рима.

В 1812 году ей пришлось бежать в Австрию, Россию, Швецию. Ей не хватало земли, когда она писала свои *«Десять лет изгнания»*. В 1810 году она вышла замуж за молодого офицера, больного и раненого, г-на де Рокка, который был моложе ее на двадцать один год. Она умерла в 1817 году.

В целом, она была прекрасной женщиной с добрым сердцем и большим талантом, которая, возможно, без салонов, без посредственных друзей, без бедствий мира болтунов и писак, могла бы стать гением.

Х

САЛОНЫ — МАДАМ ДЕ КОНДОРСЕ.

Почти напротив Тюильри, на другом берегу, напротив павильона Флора и роялистского салона мадам де Ламбаль, находится дворец Моне. Там был еще один салон, салон г-на де Кондорсе, который один из современников называл очагом Республики.

В этом европейском салоне прославленного секретаря Академии наук сосредоточились республиканские идеи того времени со всех концов света. Здесь они созрели, обрели форму и содержание, нашли свои формулировки. Как мы уже видели, инициатива и первоначальная идея принадлежали Камиллю Демулену еще в 89 году. В июне 91 года Бонневиль и кордельеры подняли первый крик.

Последним из философов великого XVIII века, который пережил всех и увидел, как их теории воплотились в реальность, был де Кондорсе, секретарь Академии наук, преемник д'Аламбера, последний корреспондент Вольтера, друг Тюрго. Его салон был естественным центром мыслящей Европы. Всякая нация, как и всякая наука, имела в нем свое место. Все выдающиеся иностранцы, получив теории Франции, приходили сюда, чтобы найти и обсудить их применение. Это были американец Томас Пейн, англичанин Уильямс, шотландец Маккинтош, женевец Дюмон, немец Анахарсис Клуцц; последний не имел никакого отношения к такому салону, но в 91 году все приходили сюда, все смешивались здесь. В углу неизменно сидел верный друг, врач Кабаны, болезненный и меланхолический, который перенес в этот дом нежную, глубокую привязанность, которую он испытывал к Мирабо.

Среди этих прославленных мыслителей возвышалась благородная и девственная фигура мадам де Кондорсе, которую Рафаэль взял бы за образец метафизики. Она была вся свет; все казалось освещенным, очищенным под ее взглядом. Она была канониссой и выглядела скорее не дамой, а благородной девушкой. Ей тогда было двадцать семь лет (на двадцать два меньше, чем ее мужу). Она только что написала свои *«Письма о симпатии»*, книгу тонкого и

деликатного анализа, в которой, под покровом крайней сдержанности, тем не менее часто чувствуется меланхолия молодого сердца, которому чего-то не хватало[4]. Безуспешно предполагали, что она стремилась к почестям, благосклонности двора и что ее разочарование бросило ее в революцию. Ничто не могло быть дальше от такого характера.

Менее невероятным является то, что, как также говорили, перед тем как выйти замуж за Кондорсе, она призналась ему, что ее сердце не свободно, что она любит, но без надежды. Мудрец принял это признание с отцовской добротой и уважал его. Два года, согласно той же традиции, они жили как два духа. Только в 89 году, в прекрасный июльский день, мадам де Кондорсе увидела всю страсть, которая таилась в этом внешне холодном человеке; она начала любить великого гражданина, нежную и глубокую душу, которая лелеяла, как свое собственное счастье, надежду на счастье всего человечества. Она нашла в нем вечную молодость этой великой идеи, этого прекрасного желания. Единственный ребенок, который у них был, родился через девять месяцев после взятия Бастилии, в апреле 90 года.

Кондорсе, которому тогда было сорок девять лет, действительно почувствовал себя молодым благодаря этим великим событиям; он начинал новую жизнь, третью по счету. Он прожил жизнь математика с д'Аламбером, критическую жизнь с Вольтером, а теперь отправлялся в плавание по океану политической жизни. Он мечтал о прогрессе; сегодня он собирался его осуществить или, по крайней мере, посвятить себя ему. Вся его жизнь представляла собой замечательное союз двух редко сочетающихся способностей: твердого разума и безграничной веры в будущее. Твердый даже по отношению к Вольтеру, когда он считал его несправедливым, друг экономистов, не слепо следующий за ними, он оставался таким же независимым по отношению к Жиронде. Мы до сих пор с восхищением читаем его защиту Парижа от предрассудков провинций, которые были предрассудками жирондистов.

Этот великий ум всегда был присутствующим, бодрствующим, владеющим собой. Его дверь всегда была открыта, какой бы абстрактной работой он ни занимался. В салоне, в толпе, он всегда думал; его ничто не отвлекало. Он мало говорил, все слышал, все использовал; он никогда ничего не забывал. Любимый особенный человек, который его расспрашивал, находил его еще более особенным в том, чем он занимался. Женщины были удивлены и напуганы, видя, что он знал даже историю их моды, и очень давнюю, и в мельчайших подробностях. Он казался очень холодным, никогда не раскрывался. Его друзья знали о его дружбе только по той чрезвычайной горячности, с которой он тайно оказывал им услуги. «Он как вулкан под снегом», — говорил д'Аламбер. Говорят, что в молодости он был влюблен и, не надеясь на ничего, на мгновение был близок к самоубийству. Став пожилым и зрелым, но в душе не менее страстным, он испытывал к своей Софи сдержанную, безграничную любовь, одну из тех глубоких страстей, которые тем сильнее, чем позже они приходят, тем глубже, чем сама жизнь, и которые невозможно измерить.

Благородная эпоха! И как же были достойны любви эти женщины, достойны того, чтобы мужчины отождествляли их с самим идеалом, с родиной и добродетелью! Кто не помнит тот траурный обед, когда друзья Камиля Демулена в последний раз просили его остановить своего *Старого Кордельера*, отложить его просьбу *Комитету милосердия*? Его Люсиль, забыв о себе как о жене и матери, бросается ему на шею: «Оставьте его, — говорит она, — оставьте, пусть он следует своей судьбе!»

Так они прославили брак и любовь, подняв утомленный лоб человека перед лицом смерти, влив в него новую жизнь, введя его в бессмертие...

Они тоже будут там всегда. Всегда приходящие сюда мужчины будут сожалеть о том, что не видели этих героических и очаровательных женщин. Они остаются в нас связанными с самыми благородными мечтами сердца, образцами и сожалением о вечной любви!

В чертах лица и выражении Кондорсе было что-то от этой трагической судьбы. С его застенчивым видом (как у ученого, всегда одинокого среди людей) в нем было что-то печальное, терпеливое, смиренное. Верхняя часть лица была красивой. Глаза, благородные и мягкие, полные серьезной идеальности, казалось, смотрели вглубь будущего. И все же его широкий лоб, способный вместить всю науку, казался огромным хранилищем, полным сокровищ прошлого.

Человек был, надо сказать, скорее широким, чем сильным. Это чувствовалось по его рту, немного мягкому и слабому, немного опущенному. Универсальность, которая рассеивает ум на все объекты, является причиной истощения. Добавьте к этому, что он прожил свою жизнь в XVIII веке и нес на себе его бремя. Он пережил все споры, величие и мелочность того века. Он неизбежно был полон противоречий. Племянник епископа-иезуита, частично воспитанный им, он также многое обязан покровительству Ларошфуко. Хотя и беден, он был дворянином, титулованным, маркизом де Кондорсе. Рождение, положение, связи — многое связывало его со старым режимом. Его дом, его салон, его жена представляли собой полную противоположность.

Мадам де Кондорсе, урожденная Груши, сначала канонисса, восторженная ученица Руссо и Революции, вышла из своего полуцерковного положения, чтобы возглавить салон, который был центром свободомыслящих, и казалась благородной религиозной философем.

Кризис июня 91 года должен был определить Кондорсе, он призывал его высказаться. Ему нужно было выбирать между своими связями, своими прецедентами, с одной стороны, и своими идеями, с другой. Что касается интересов, то у такого человека их не было. Единственное, что, возможно, могло его заинтересовать, это то, что, поскольку Республика унижала всякое условное величие и тем самым возвышала естественное превосходство, его Софи стала бы королевой.

М. де Ларошфуко, его близкий друг, не терял надежды нейтрализовать его республиканизм, как и республиканизм Лафайета. Он считал, что может легко справиться с этим скромным ученым, мягким и застенчивым человеком, которого, кстати, когда-то защищала его семья. Дошло до того, что стали утверждать и распространять среди общественности, что Кондорсе разделял роялистские идеи Съеса. Таким образом, его компрометировали и одновременно соблазняли перспективой назначения губернатором Дофина.

Эти слухи, вероятно, побудили его заявить о себе раньше, чем он, возможно, сделал бы это.¹ июля он объявил через *Bouche-de-fer*, что выступит в *Cercle social* по поводу Республики. Он подождал до 12 числа и сделал это с определенной осторожностью. В своей остроумной речи он опроверг несколько банальных возражений против республики, добавив, однако, следующие слова, которые вызвали большое удивление: «Если же народ оставляет за собой право созвать Конвент, чтобы решить, сохранять ли трон, если наследственность сохраняется в течение нескольких лет между двумя Конвентами, *то в этом случае монархия не противоречит по сути правам граждан...*». Он намекал на ходившие слухи о том, что его должны были назначить губернатором Дофина, и говорил, что в этом случае он научит его, прежде всего, обходиться без трона.

Эта кажущаяся нерешительность не очень понравилась республиканцам и шокировала роялистов. Последние были еще более оскорблены, когда в Париже распространилась

остроумная, насмешливая памфлет, написанный столь серьезным тоном. Кондорсе, вероятно, был эхом и секретарем молодого общества, которое часто бывало в его салоне. Памфлет представлял собой *письмо молодого механика*, который за небольшую сумму обязывался стать отличным конституционным королем.

«Этот король, — говорилось в нем, — прекрасно выполнял бы функции монарха, ходил бы на церемонии, сидел бы как положено, ходил бы на мессу и даже, с помощью некоего рычага, принимал бы из рук президента Ассамблеи список министров, назначенных большинством... Мой король не был бы опасен для свободы; и тем не менее, тщательно его ремонтируя, он был бы вечным, что еще прекраснее, чем быть наследственным. Его можно было бы даже без несправедливости объявить неприкосновенным и без абсурдности назвать непогрешимым».

Замечательная вещь. Этот зрелый и серьезный человек, который шуткой отправился в плавание по океану Революции, нисколько не скрывал от себя риски, на которые он шел. Полный веры в далекое будущее человечества, он меньше верил в настоящее, не питал никаких иллюзий по поводу ситуации и хорошо видел ее опасности. Он боялся их не за себя (он был готов отдать свою жизнь), а за свою любимую жену и маленького ребенка, родившегося в священный момент июля. В течение нескольких месяцев он тайно собирал информацию о том, через какой порт он сможет, в случае необходимости, вывезти свою семью, и остановился на порту Сен-Валери.

Все было отложено, и, шаг за шагом, событие произошло. Оно произошло благодаря самому Кондорсе; этот столь осторожный человек стал смелым в разгар Террора. Редактор проекта Конституции 92 года, он яростно атаковал Конституцию 93 года и был вынужден искать убежище от преследования.

XI

ПРОДОЛЖЕНИЕ. — МАДАМ ДЕ КОНДОРСЕ (94).

«Любовь сильна, как смерть». И, возможно, именно в эти времена смерти она торжествует, потому что смерть придает любви нечто острое и жгучее, горькое и божественное, чего нет в этом мире.

Читая о смелом путешествии Луве по всей Франции в поисках любимой, наблюдая за теми моментами, когда, сведенные судьбой в тайнике в Париже или пещере в Юре, они падают друг другу в объятия, обессиленные, уничтоженные, кто не сказал сотню раз: «О смерть, если у тебя есть такая сила, стократно преобразовать радости жизни, то ты действительно держишь ключи от рая!»

Любовь спасла Луве. Он потерял Демулена, подтвердив его героизм. Он не был посторонним в смерти Кондорсе.

6 апреля 1794 года Луве въехал в Париж, чтобы увидеться со своей Лодоиской; Кондорсе уезжал из города, чтобы уменьшить опасность для своей Софи.

По крайней мере, это единственное объяснение, которое можно найти для бегства изгнанника, заставившего его покинуть свое убежище.

Говорить, как это делали, что Кондорсе покинул Париж только для того, чтобы посмотреть на сельскую местность и насладиться весной, — это странное, неправдоподобное и несерьезное объяснение.

Чтобы понять, нужно посмотреть на положение этой семьи.

Мадам де Кондорсе, красивая, молодая и добродетельная жена прославленного изгнанника, который мог бы быть ее отцом, в момент изгнания и конфискации имущества оказалась в полной нищете. Ни у одного из них не было средств для бегства. Их друг Кабаньи обратился к двум студентам-медикам, впоследствии прославившимся Пинелю и Буайе. Они разместили Кондорсе в почти общественном месте, у дамы Верне, недалеко от Люксембурга, которая принимала нескольких постояльцев для проживания и питания. Эта дама была замечательной. Один из горцев, который жил в этом доме, проявил доброту и тактичность, встречаясь с Кондорсе каждый день, но не желая его узнавать. Мадам Кондорсе жила в Отей, и каждый день приходила в Париж пешком. Обремененная больной сестрой, старой гувернанткой и маленьким ребенком, она все же должна была жить и обеспечивать своих близких. Младший брат секретаря Кондорсе держал для нее на улице Сен-Оноре, № 352 (в двух шагах от Робеспьера) небольшой магазин нижнего белья. В мезонине над магазином она рисовала портреты. Многие из тогдашних влиятельных людей приходили, чтобы заказать себе портрет. Ни одна отрасль не процветала так, как живопись, во время Террора; люди спешили запечатлеть на холсте тень этой столь ненадежной жизни. Особая привлекательность чистоты и достоинства, которые были присущи этой молодой женщине, привлекала сюда жестоких людей, врагов ее мужа. Что ей только не приходилось слышать! Какие жестокие и грубые слова! Они нанесли ей неизлечимую рану, она стала тоскливой и болезненной навсегда. Вечером, когда она осмеливалась, дрожащая и с разбитым сердцем, она скользила в тени до улицы Сервандони, мрачной, сырой улочки, скрытой под башнями Сен-Сюльписа. Дрожа от страха быть замеченной, она легкой походкой поднималась в бедную комнату великого человека; любовь и сыновняя любовь дарили Кондорсе несколько часов радости и счастья. Нет нужды говорить здесь о том, как она скрывала испытания дня, унижения, жестокость, варварскую легкомысленность, эти мучения раненой души, ценой которых она поддерживала своего мужа, свою семью, уменьшая ненависть своим терпением, умиротворяя гнев, возможно, удерживая надвигающуюся казнь. Но Кондорсе был слишком проницателен, чтобы не догадаться обо всем; он читал все под той бледной улыбкой, которой она маскировала свою внутреннюю смерть. Так плохо скрываясь, в любой момент рискуя потерять себя и ее, прекрасно понимая все, что она страдала и рисковала ради него, он испытывал самый сильный укол Ужаса. Неразговорчивый, он держал все в себе, но все больше ненавидел жизнь, которая ставила под угрозу то, что он любил больше жизни.

Чем он заслужил такое мучение? Никакими проступками жирондинцев. Далекий от федерализма, он в своей остроумной книге защищал права Парижа, демонстрировал преимущества такой столицы как инструмента централизации. Название «Республика», первый республиканский манифест, было написано у него дома и обнародовано его друзьями, когда Робеспьер, Дантон, Верньо и все остальные еще колебались. Он написал, правда, этот первый проект конституции, невыполнимый, неприменимый, который никогда не смог бы заработать, настолько он перегружен гарантиями, барьерами, препятствиями для власти, страховками для личности. Ужасное слово Шабо, что избранная конституция, конституция 93 года, является лишь ловушкой, ловким средством для организации диктатуры, Кондорсе не произнес, но он доказал это в яростной брошюре. Шабо,

испугавшись собственной смелости, решил примириться с Робеспьером, объявив Кондорсе вне закона.

Тот, совершивший этот смелый поступок на следующий день после 31 мая, хорошо понимал, что рискует своей жизнью. Он попросил Кабаниса дать ему надежное яд. Вооружившись этим оружием и имея возможность всегда им воспользоваться, он хотел из своего убежища продолжать полемику, дуэль логики против ножа, устрашать Террор победоносными ударами Разума. Такова была его глубокая вера в этого бога XVIII века, в его непогрешимую победу здравого смысла человеческого рода.

Его остановила нежная сила, непобедимая и властная, голос любимой женщины, страдающего цветка, оставленного в заложниках жестокости мира, столь уязвимого для него, который жил для него и умирал для него. Мадам де Кондорсе попросила его о самой большой жертве, жертве его страсти, его борьбы, то есть жертве его сердца. Она сказала ему оставить там своих врагов одного дня, весь этот мир ярости, который пройдет, и обосноваться вне времени, уже воспользоваться своим бессмертием, реализовать идею, которую он лелеял, написать *«Картину прогресса человеческого духа»*.

Это было огромным усилием. Оно проявляется в явном отсутствии страсти, в суровой и печальной холодности, которую наложил на себя автор. Многие возвышено, многие сухо указано[5]. Время поджимало. Как узнать, будет ли завтра? Одиноким человек под своим ледяным крышей, видя из своего окна только голые верхушки деревьев Люксембургского сада, зимой 93 года усердно трудился день за днем, ночь за ночью, счастливый, что может сказать каждому листу, каждому веку своей истории: «Еще один век мира спасен от смерти».

К концу марта он пережил, спас, посвятил все века и все эпохи; жизненная сила наук, их вечная мощь, казалось, были в его книге и в нем самом. Что такое история и наука? Борьба со смертью. Страстное стремление великой бессмертной души передать бессмертие подтолкнуло мудреца к тому, чтобы выразить свое желание в этой пророческой форме: «Наука победит смерть. И тогда мы больше не будем умирать».

Возвышенный вызов царству смерти, окружавшему его. Благородная и трогательная месть! Укрыв свою душу в будущем счастье человечества, в его бесконечных надеждах, спасенный будущим спасением, Кондорсе 6 апреля, закончив последнюю строку, надел свою шерстяную шапку и в рабочей куртке утром переступил порог дома доброй мадам Верне. Она догадалась о его замысле и следила за ним; он смог сбежать только благодаря хитрости. В одном кармане у него был его верный друг, его освободитель; в другом — римский поэт, написавший похоронные гимны умирающей свободе[6].

Он бродил весь день по окрестностям. Вечером он вошел в очаровательную деревню Фонтене-о-Роз, густо населенную литераторами, прекрасное место, где он сам, секретарь Академии наук, связанный, так сказать, с королевской семьей Вольтера, имел столько друзей и почти придворных; все они бежали или были отстранены. Остался дом *Пти-Менаж*, так называли господина и госпожу Сюар. Настоящая миниатюра по размеру и духу. Сюар, симпатичный маленький мужчина, госпожа, живая и милая, оба были литераторами, но не писали книг, а только короткие статьи, некоторые работы для министров, сентиментальные рассказы (в этом преуспевала госпожа). Никто не мог лучше устроить свою жизнь. Оба были любимы, влиятельны и уважаемы до последнего дня. Суар умер королевским цензором.

Они прятались там, под землей, ожидая, пока пройдет буря, и стараясь быть как можно незаметнее. Когда этот уставший изгнанник с изможденным лицом, грязной бородой и в своем печальном переодевании неожиданно нагрянул на них, милая маленькая семейка

была жестоко потревожена. Что произошло? Никто не знает. Известно только, что Кондорсе сразу же вышел через дверь в сад. Говорят, он должен был вернуться, дверь должна была остаться открытой, но он застал ее закрытой. Известный эгоизм Сюаров, по-моему, не является достаточным основанием для этой традиции. Они утверждают, и я им верю, что Кондорсе, который покинул Париж, чтобы никого не подвергать опасности, не хотел подвергать опасности их; он, по-видимому, попросил и получил пропитание: вот и все.

Он провел ночь в лесу, а затем и день. Но ходьба изнурила его. Человек, сидевший в течение года, внезапно начав ходить без отдыха, скоро умер бы от усталости. Поэтому ему, с его длинной бородой и блуждающим взглядом, пришлось войти, бедный голодный, в кабак в Кламаре. Он жадно ел и, чтобы поддержать свое сердце, открыл римского поэта. Его вид, эта книга, эти белые руки — все выдавало его. Крестьяне, которые там пили (это был революционный комитет Кламара), сразу же поняли, что он враг Республики. Они оттащили его в округ. Проблема заключалась в том, что он не мог сделать ни шага. Его ноги были изранены. Его подняли на жалкое повозку проходящего мимо винодела. Именно в таком виде этот прославленный представитель XVIII века был торжественно доставлен в тюрьму Бург-ла-Рен. Он избавил Республику от позора отцеубийства, от преступления, заключавшегося в убийстве последнего из философов, без которого она бы не существовала.

XII

ЖЕНСКИЕ ОБЩЕСТВА — ОЛИМП ДЕ ГУЖ, РОЗ ЛАКОМБ.

Якобинцы называли себя *Друзьями Конституции*, а общество, которое собиралось под их залом, называлось: Братское общество патриотов обоих полов, *защитников Конституции*. Оно приобрело большую силу в мае 91 года. В один из важных моментов, когда оно протестует против декретов Учредительного собрания, оно привлекает три тысячи человек. Примерно в это же время оно принимает в свои ряды известного члена, мадам Ролан, которая в то время находилась в Париже.

К сожалению, мы мало знаем об истории женских обществ. Некоторые скудные сведения о них можно найти в случайных упоминаниях в газетах, биографиях и т. д.

Многие из этих обществ были основаны около 90 и 91 годов блестящей импровизаторшей из Юга, Олимпией де Гуж, которая, как Лопе де Вега, диктовала по одной трагедии в день. Она была неграмотной; говорят даже, что она не умела ни читать, ни писать. Она родилась в Монтобане (1755) в семье торговца одеждой и, по мнению одних, купца, по мнению других, литератора. Некоторые считали ее внебрачной дочерью Людовика XV. Эта несчастная женщина, полная благородных идей, была мученицей, игрушкой своей изменчивой чувствительности. Она основала права женщин одним точным и возвышенным словом: «Они имеют право подниматься на трибуну, раз они имеют право подниматься на эшафот».

Революционерка в июле 89 года, она стала роялисткой 6 октября, когда увидела короля в плену в Париже. Республиканка в июне 91 года, под впечатлением бегства и предательства Людовика XVI, она снова стала ему благосклонна, когда его судили. Ее непоследовательность вызывала насмешки, и, с южной горячностью, она предлагала насмешникам дуэли на пистолетах.

Партия Лафайета в основном способствовала ее гибели, поставив ее во главе контрреволюционного праздника. Ее заставили действовать, писать по делам, которые ее слабый ум не мог понять. Мерсье и другие ее друзья тщетно советовали ей остановиться, но она продолжала действовать, полагаясь на чистоту своих намерений; она объяснила их публике в очень благородной памфлете *«Гордость невинности»*. Сострадание стало для нее роковым. Когда она увидела короля на скамье подсудимых Конвента, будучи искренней республиканкой, она предложила защищать его. Предложение не было принято. Но с этого момента она была потеряна.

Женщины, в своей публичной преданности, когда они бросают вызов партиям, рискуют гораздо больше, чем мужчины. В то время было отвратительным макиавеллизмом хватать тех, чей героизм мог вызвать энтузиазм, и высмеивать их с помощью тех оскорблений, которые жестокость легко наносит слабому полу. Однажды Олимпия была схвачена в толпе, ее схватили за голову; какой-то грубиян держал ее голову под мышкой, срывая с нее шапку; ее волосы распустились... бедные седые волосы, хотя ей было всего тридцать восемь лет; талант и страсть измотали ее. «Кто хочет голову Олимпии за пятнадцать су?» — кричал варвар. Она тихо, не теряя самообладания, ответила: «Мой друг, мой друг, я ставлю тридцать». Все смеялись, и она спаслась.

Но не надолго. Представ перед революционным трибуналом, она испытала ужасную горечь, увидев, как ее сын с презрением отрекся от нее. Там у нее не хватило сил. В результате печальной реакции природы, от которой не всегда свободны даже самые бесстрашные, смягченная и пропитанная слезами, она снова стала женщиной, слабой, дрожащей, боящейся смерти. Ей сказали, что беременные женщины получали отсрочку казни. Говорят, она тоже хотела ее получить. Один друг, по-видимому, со слезами на глазах выполнил эту печальную обязанность, которая, как можно было предвидеть, оказалась бесполезной. Матроны и хирурги, которых консультировал суд, были достаточно жестоки, чтобы сказать, что, если и была беременность, то она была слишком недавней, чтобы ее можно было подтвердить.

Она вновь обрела мужество перед эшафотом и умерла, поручая родине свою месть и память.

Женские общества, полностью изменившиеся в 93 году, имели тогда огромное влияние. Во главе *революционных женщин* стояла красноречивая, смелая девушка, которая в ночь на 31 мая на общем собрании епископата, где было решено казнить жирондистов, проявила самую яростную инициативу и значительно превзошла в ярости мужчин. Ее любовником был тогда молодой лионский житель Леклерк, ученик, как я полагаю, Шалье, близко связанный с Жаком Ру, трибуном улицы Сен-Мартен, проповеди которого распространяли некоторые коммунистические идеи. Леклерк, Ру и другие после смерти Марата создали газету, которая была далека от маратизма: *«Тень Марата»*.

Эти смелые новаторы, жестоко ненавидимые Робеспьером и якобинцами, вызвали у них враждебность к женским обществам, где их нововведения были хорошо приняты.

С другой стороны, рыбацки или дамы с рынка, в большинстве своем роялистки и все очень раздраженные сокращением своей торговли, злились на женские общества, которые они совершенно несправедливо считали виновными в этом. Будучи сильнее и лучше питающимися, чем эти женщины (бедные рабочие), они часто избивали их. Неоднократно они врывались в одно из этих обществ под кладбищем Сен-Эташ и избиениями заставляли его членов бежать.

С другой стороны, республиканки считали плохим, что рыбацки не носили национальную кокарду, которую все носили в соответствии с законом. В октябре 93 года, во время смерти жирондистов, одетые как мужчины и вооруженные, они прогулялись по рынкам и оскорбляли рыбацков. Те набросились на них и, к большому удовольствию мужчин, своими крепкими руками нанесли им непристойное наказание. В Париже не говорили ни о чем другом. Конвент вынес приговор, но против жертв; он запретил женщинам собираться вместе. Таким образом, этот важный социальный вопрос был случайно задушен.

Что стало с Розой Лакомб? Странно, но эта жестокая женщина, как и большинство террористов того времени, однажды проявила слабость и человечность, что едва не стоило ей жизни. Она сильно рискнула, пытаясь спасти подозреваемого. Это был трагический момент марта 94 года. Она запросила паспорт как актриса, нанятая в театр Дюнкерка.

В июне 94 года мы находим ее сидящей у входа в тюрьму, продающей заключенным вино, сахар, пряники и т. д. и т. п. Это было прибыльное занятие, которое благодаря попустительству тюремщиков позволяло продавать все по любой цене. Невозможно было узнать в ней ту же горячую бахчанку 93 года. Она стала корыстной торговкой, но при этом мягкой и вежливой.

XIII

ТЕРУАГН ДЕ МЕРИКУР (89-95).

Существует очень хороший гравюрный портрет красивой, доблестной, несчастной жительницы Льежа, которая 5 октября проявила большую инициативу, чтобы завоевать полк Фландрии, сломать поддержку королевской власти, которая 10 августа среди первых бойцов вошла в замок с мечом в руке и получила корону из рук победителей. К сожалению, этот портрет, нарисованный в Сальпетриере, когда она сошла с ума, очень слабо напоминает героическую красавицу, которая покорила сердца наших отцов и заставила их увидеть в женщине само воплощение Свободы.

Круглая и сильная голова (типичная для жителей Льежа), черные глаза, немного большие, немного суровые, не утратили своего пламени. В них все еще жива страсть и след той бурной любви, которой жила и умерла эта девушка, — любовь к мужчине? Нет (хотя это и странно для такой жизни), любовь к идее, любовь к Свободе и Революции.

Глаза бедной девушки, однако, не пусты; они полны горечи, упрека и боли, полны чувства такой великой неблагодарности! Кроме того, время нанесло ей не меньший удар, чем несчастье. Потухшие черты лица приобрели нечто материальное. За исключением черных волос, убранных в косынку, все осталось без внимания, обнаженная грудь, последняя сохранившаяся красота, грудь, сохранившая чистые, упругие и девственные формы, как будто для того, чтобы свидетельствовать о том, что несчастная, отдававшаяся страстям других, сама мало пользовалась жизнью.

Чтобы понять эту женщину, нужно хорошо знать ее страну, Валлонию, от Турне до Льежа, и особенно Льеж, нашу горячую маленькую Францию на Мезе, авангард, брошенный так далеко среди немецкого населения Нидерландов. Я рассказал о ее славной истории в XV веке, когда этот героический народ города, столько раз разбитый, но никогда не побежденный, сражался с империей, когда триста льежцев за одну ночь прорвали лагерь из

сорока тысяч человек, чтобы убить Карла Смелого. (*История Франции*, т. VI.) В наших войнах 93 года я рассказал, как валлонский рабочий, кузнец из Турне, жестянщик Мёрис, благодаря своей самоотверженности, напоминающей самоотверженность тех трехсот, спас город Нант, как Вандея потерпела там поражение ради спасения Франции. (*История Революции*.)

Чтобы понять Терионь, нужно еще знать судьбу города Льежа, этого мученика свободы в начале Революции. Подвергаясь жесточайшей тирании, подчиняясь священникам, он освободился на два года, но затем вновь попал под власть своего епископа, восстановленного Австрией. Лиежцы, массово бежавшие к нам, прославились в наших армиях своей горячей доблестью и не менее прославились в наших клубах своей вспылчивой красноречивостью. Они были нашими братьями или детьми. Самым трогательным праздником Революции, пожалуй, был тот, когда Коммуна торжественно приняла архивы Льежа и провела их по Парижу, прежде чем принять их в свое сердце в мэрии.

Теронь была дочерью зажиточного фермера, который дал ей некоторое образование, и она обладала большим живым умом и природной красноречивостью: эта северная раса во многом похожа на южную. Соблазненная немецким сеньором, брошенная, очень уважаемая в Англии и окруженная любовниками, она предпочитала им всех итальянского певца, кастрата, уродливого и старого, который грабил ее и продал ее бриллианты. Тогда она называла себя, в память о своей стране (Кампине), графиней Кампинадос. Во Франции ее страсти были такими же к мужчинам, чуждым любви. Она заявляла, что ненавидит безнравственность Мирабо; она любила только сухого и холодного Сикеса, заклятого врага женщин. Она выделяла еще одного сурового мужчину, одного из тех, кто позже основал культ Разума, автора республиканского календаря, математика Ромма, столь же уродливого лицом, сколь чистым и великодушным сердцем; она пронзила это сердце в день, когда поверила, что Республика мертва. Ромм в 89 году прибыл из России; он был гувернером молодого принца Строгонова и без колебаний водил своего ученика в салоны Лижской, которые посещали такие люди, как Съес и Петион. Достаточно сказать, что Теронь, каким бы сомнительным ни было ее положение, ни в коем случае не была девчонкой.

Она проводила целые дни в Ассамблее, не пропуская ни слова из того, что там говорилось. Одной из самых распространенных шуток роялистов, составлявших *Акты апостолов*, было женить Терионь на депутате Популе, который даже не знал ее.

Даже если бы Териона ничего не сделала, она осталась бы бессмертной благодаря замечательной статье Камиля Демулена о заседании Кордельеров. Вот выдержка из нее, которую я привел в другом месте:

«Оратор прерван. У двери раздается шум, лестный, приятный шепот... Входит молодая женщина и хочет выступить... Что же это? Это же мадемуазель Терионь, прекрасная амазонка из Льежа! Вот ее красный шелковый сюртук, ее большой сабля 5 октября. Восторг достигает апогея. «Это царица Савская, — восклицает Демулен, — которая пришла навестить Соломона округов».

«Уже она прошла через всю Ассамблею легкой походкой пантеры и поднялась на трибуну. Ее красивая, вдохновенная, сверкающая голова появляется между мрачными апокалиптическими фигурами Дантона и Марата.

«Если вы действительно Соломоны, — говорит Теронь, — то докажите это, постройте Храм, храм свободы, дворец Национального собрания... И постройте его на месте, где стояла Бастилия.

Как же так! В то время как исполнительная власть обитает в самом прекрасном дворце вселенной, в павильоне Флоры и колоннадах Лувра, законодательная власть все еще располагается в палатках, в Жу-де-Пом, в Мену, в Манеже... как голубь Ноя, которому негде присесть!

«Так не может продолжаться. Народы, глядя на здания, в которых будут находиться две власти, должны одним взглядом понять, где находится истинный правитель. Что такое правитель без дворца? Бог без алтаря. Кто признает его культ?

«Давайте построим этот алтарь. И пусть все внесут свой вклад, пусть все принесут свое золото, свои драгоценные камни; вот мои. Давайте построим единственный истинный храм. Ни один другой храм не достоин Бога, кроме того, в котором была провозглашена Декларация прав человека. Париж, хранитель этого храма, будет не столько городом, сколько общей родиной для всех, местом встречи племен, их Иерусалимом!»

Когда Льеж, разгромленный австрийцами, был возвращен своему церковному тирану в 1791 году, Теронь не изменила своей родине. Но она последовала из Парижа в Льеж, где была арестована по прибытии, в частности, как виновная в покушении 6 октября на королеву Франции, сестру императора Леопольда. Отправленная в Вену и в конце концов освобожденная из-за отсутствия доказательств, она вернулась разгневанная, особенно на агентов королевы, которые, как она полагала, следили за ней и выдали ее. Она описала свои приключения; она хотела напечатать их; она, как говорят, прочитала несколько страниц в якобинском клубе, когда 10 августа разразилась революция.

Одним из людей, которых она ненавидела больше всего, был журналист Суло, один из самых ярых агентов контрреволюции. Она злилась на него не только за шутки, которыми он ее засыпал, но и за то, что он издавал в Брюсселе у австрийцев одну из газет, которые подавили революцию в Льеже, «*Tocsin des rois*» (Колокол королей). Сулео был опасен не только своим пером, но и своим мужеством, своими безграничными связями в своей провинции и за ее пределами. Монлозье рассказывает, что Сулео, находясь в опасности, сказал ему: «В случае необходимости я пошлю всю свою Пикардию на помощь». Сулео, необычайно активный, умножался; его часто встречали в переодетом виде. Лафайетт, уже в 90 году, рассказывает, что его нашли таким образом, когда он выходил вечером из отеля архиепископа Бордо. Снова переодетый, вооруженный, утром 10 августа, в момент наибольшего народного гнева, когда толпа, опьяненная предвкушением предстоящей битвы, искала только врага, Суло был схвачен и с тех пор считался мертвым. Его арестовали в поддельном патруле роялистов, вооруженных мушкетами, которые проводили разведку вокруг Тюильри.

Тероина прогуливалась с французским гвардейцем по террасе Feuillants, когда арестовали Сулео. Если он и погиб, то, по крайней мере, не она могла приговорить его к смерти. Даже шутки, которые он отпускал в ее адрес, должны были защитить его. С рыцарской точки зрения она должна была защищать его; с точки зрения, которая тогда преобладала, — яростного подражания республиканцам древности, — она должна была сразить общественного врага, хотя он и был ее врагом. Комиссар, взобравшись на подмости, пытался успокоить толпу; Тероина сбила его, заменила его и выступила против Сулео. Двести человек из национальной гвардии защищали заключенных; от секции был получен приказ прекратить сопротивление. Вызванные по одному, они были зарезаны толпой. Сулео, как говорят, проявил большое мужество, вырвал саблю у убийц и попытался пробиться. Чтобы приукрасить рассказ, предполагают, что эта вираго (небольшая и очень хрупкая, несмотря на свою горячую энергию) собственноручно зарубила саблей этого высокого человека, чья

сила и энергия были десятикратно усилены отчаянием. Другие говорят, что первый удар нанес французский гвардеец, который поддерживал Терионь.

Ее участие в событиях 10 августа и корона, которую ей вручили победившие марсельцы, укрепили ее связи с жирондистами, друзьями этих марсельцев, которые и пригласили их. Она еще больше привязалась к ним из-за их общего отвращения к сентябрьским массовым убийствам, которые она энергично осуждала. Еще в апреле 92 года она резко порвала с Робеспьером, гордо заявив в кафе, что, если он будет клеветать без доказательств, «она лишит его своего уважения». Этот случай, иронично рассказанный вечером Коло-д'Эрбуа якобинцам, привел амазонку в забавный приступ ярости. Она стояла на трибуне среди поклонниц Робеспьера. Несмотря на попытки удержать ее, она перепрыгнула через барьер, отделявший трибуны от зала, пробилась через враждебную толпу и тщетно просила слова; люди затыкали уши, боясь услышать богохульство против бога храма; Терионь была изгнана, не будучи услышанной.

Она по-прежнему была очень популярна, любима и восхищала толпу своим мужеством и красотой. Был придуман способ лишить ее этого престижа, унижить ее одним из самых подлых актов насилия, которые мужчина может совершить над женщиной. Она гуляла почти одна на террасе Тюильри; они образовали вокруг нее группу, внезапно окружили ее, схватили, подняли юбки и, обнажив ее, под смех толпы, стали бить ее кнутом, как ребенка. Ее мольбы, крики, вопли отчаяния только усиливали смех этой циничной и жестокой толпы. Наконец отпущенная, несчастная продолжала кричать; убитая этим варварским оскорблением ее достоинства и мужества, она сошла с ума. С 1795 по 1817 год, в течение этого долгого периода в двадцать четыре года (целой половины ее жизни!), она оставалась безумной, крича, как в первый день. Это было душераздирающее зрелище — видеть эту героическую и очаровательную женщину, падшую ниже животного, бьющуюся о решетку, раздирающую себя и поедающую свои экскременты. Роялисты с удовольствием видели в этом месть Бога той, чья роковая красота опьянила Революцию в ее первые дни.

XIV

ЖЕНЩИНЫ ВЕНДЫ В 90 И 91 ГОДАХ.

В тот момент, когда эмигранты, приведя врага за руку, открывают ему наши восточные границы, 24 и 25 августа, в годовщину Сен-Бартеlemi, на западе вспыхивает война в Вандее.

Странно! Именно 25 августа, в день, когда крестьяне Вандеи напали на Революцию, Революция, в своей щедрой пристрастности, вынесла крестьянам длинный приговор веков, отменив феодальные права *без компенсации*.

В это время все нации, Савойя, Италия, Германия, Бельгия, города, которые являются их воротами, Ницца, Шамбери, Майнц, Льеж, Брюссель, Антверпен, принимали и призывали трехцветный флаг; все они стремились стать французскими. И вот нашёлся народ, настолько слепой, что он вооружился против Франции, своей матери, против народа, который является самим собой! Эти бедные, невежественные, заблудшие люди кричали: «Смерть нации!».

В этой войне в Вандее все таинственно. Это война тьмы и загадок, война призраков, неуловимых духов. В обществе циркулируют самые противоречивые сообщения. Расследования ничего не дают. После какого-нибудь трагического события в приход неожиданно прибывают комиссары, и все спокойно; крестьянин работает, женщина сидит у

двери, окруженная детьми, и прядет, на шее у нее большие четки. А господин? Его можно найти за столом; он приглашает комиссаров, которые уходят очарованные. На следующий день убийства и поджоги возобновляются.

Где же мы можем уловить неуловимый дух гражданской войны?

Посмотрим. Я ничего не вижу, кроме серой монахини, которая смиренно бежит с опущенной головой.

Я ничего не вижу. Только между двумя деревьями я мельком вижу даму на лошади, которая, сопровождаемая слугой, мчится, перепрыгивая через канавы, покидает дорогу и сворачивает на переулок. Она, без сомнения, не боится встречи.

По той же дороге идет, с корзиной на руке, в которой, возможно, яйца или фрукты, честная крестьянка. Она идет быстро и хочет добраться до города до наступления ночи.

Но сестра, дама, крестьянка, наконец, куда они идут? Они идут по трем разным дорогам, но приходят в одно и то же место. Все трое идут, чтобы постучать в дверь монастыря. Почему бы и нет? У дамы там воспитывается ее маленькая дочь; крестьянка пришла туда торговать; сестра просит приют на одну ночь.

Вы хотите сказать, что они пришли туда, чтобы получить указания от священника? Сегодня его нет. — Да, но вчера он был. Он должен был прийти в субботу, чтобы исповедовать монахинь. Будучи исповедником и наставником, он руководит не только ими, но и многими другими через них; он доверяет этим страстным сердцам, этим неуловимым языкам те или иные секреты, которые нужно разгласить, те или иные ложные слухи, которые нужно распространить, те или иные сигналы, которые нужно передать. Неподвижный в своем уединении, через этих неподвижных монахинь он движет всей страной.

Женщина и священник — вот и все, что нужно знать о Вандее и гражданской войне.

Обратите внимание, что без женщин священник ничего бы не смог сделать.

«Ах, разбойницы, — говорил однажды вечером республиканский командир, прибыв в деревню, где остались только женщины, когда эта ужасная война унесла жизни стольких мужчин, — именно женщины, — говорил он, — являются причиной наших бедствий; без женщин Республика уже была бы установлена, и мы жили бы спокойно у себя дома... Идите, вы все погибнете, завтра мы вас расстреляем. А послезавтра бандиты сами придут убить нас» (Мемуары мадам де Сапино).

Он не убил женщин. Но он сказал, по сути, правду о гражданской войне. Он знал это лучше всех. Этот республиканский офицер был священником, который сбросил сутану; он прекрасно знал, что все дело тьмы было совершено благодаря тесному и глубокому соглашению между женщиной и священником.

Женщина — это дом, но в равной степени это и церковь, и исповедальня. Этот мрачный дубовый шкаф, где женщина, стоя на коленях, среди слез и молитв, принимает и с еще большей страстью возвращает фанатичный огонь, — это истинный очаг гражданской войны.

Женщина, что еще? Кровать, всемогущее влияние супружеских привычек, непобедимая сила вздохов и слез на подушке... Муж спит, уставший. Но она не спит. Она ворочается, переворачивается; ей удастся разбудить его. Каждый раз глубокий вздох, иногда рыдание. «Но что с тобой сегодня ночью? — Увы! Бедный король в храме! Увы! Они били его, как

нашего Господа Иисуса Христа!» — И, если мужчина засыпает на мгновение: «Говорят, что собираются продать церковь! Церковь и приход! Ах! Горе, горе тому, кто ее купит!...»

Таким образом, в каждой семье, в каждом доме у контрреволюции был горячий, ревностный, неутомимый проповедник, ни в коем случае не вызывающий подозрений, искренний, наивно увлеченный, который плакал, страдал, не произносил ни одного слова, которое не было бы или не казалось взрывом разбитого сердца... Огромная, действительно непобедимая сила. По мере того как революция, вызванная сопротивлением, была вынуждена наносить удар, она получала другой: реакцию в виде слез, вздохов, рыданий, криков женщин, более пронзительных, чем кинжалы.

Постепенно это огромное несчастье начало проявляться, этот жестокий разрыв: женщина становилась препятствием и противоречием революционному прогрессу, которого требовал муж.

Этот факт, самый серьезный и ужасный в то время, остался незамеченным.

Железо оборвало жизнь многих мужчин. Но вот что гораздо важнее: невидимое железо разрывает узы семьи, ставя мужчину на одну сторону, а женщину — на другую.

Эта трагическая и болезненная вещь появилась около 92 года. Будь то любовь к прошлому, сила привычки, слабость сердца и слишком естественное сострадание к жертвам Революции, или, наконец, преданность и зависимость от священников, женщина становилась защитницей контрреволюции.

Именно на материальной почве приобретения национальных богатств обычно возникал моральный спор между мужем и женой.

Материальный вопрос? Можно сказать и да, и нет.

Во-первых, это был вопрос жизни и смерти для революции. Поскольку налоги не поступали, ее единственным источником дохода была продажа национального имущества. Если бы она не осуществила эту продажу, она была бы безоружна и подвержена вторжению. Спасение моральной революции, победа принципов зависели от финансовой революции.

Покупка была гражданским актом, который непосредственно способствовал спасению страны. Актом веры и надежды. Это означало, что мы решительно вступали на борт корабля государства, находящегося в опасности, и что вместе с ним мы хотели либо достичь берега, либо погибнуть. Хороший гражданин покупал, плохой гражданин мешал покупать.

Препятствовать, с одной стороны, поступлению налогов, с другой — продаже национального имущества, перекрыть продовольствие Революции, заставить ее умереть с голоду: вот очень простой, очень хорошо продуманный план церковной партии.

Аристократ приводил иностранца, а священник мешал защищаться. Один наносил удар Франции, другой обезоруживал ее.

Как священник останавливал революционное движение? Внедряя его в семью, настраивая жену против мужа, закрывая через нее кошелек каждой семьи для нужд государства.

Сорок тысяч кафедр, сто тысяч исповедален работали в этом направлении. Огромная машина, обладающая неисчислимой силой, которая без труда боролась с революционной машиной прессы и клубов и заставляла их, если они хотели победить, организовывать террор.

Но уже в 89, 90, 91, 92 годах церковный террор царил в проповедях, в исповеди. Женщина возвращалась домой с опущенной головой, согнувшись от страха, сломленная. Она видела вокруг себя только ад и вечные пламени. Невозможно было ничего делать, не обрекая себя на вечные муки. Повиноваться законам означало проклясть себя. Платить налоги означало проклясть себя. Но дно бездны, ужас безнадежных мучений, острый коготь дьявола были для приобретателя национальных богатств... Как она могла бы осмелиться продолжать есть с ним? Его хлеб был лишь пеплом. Как спать с отверженным? Быть его женой, его половинкой, одной плотью, разве это не означало уже гореть, войти живой в проклятие?

Кто может сказать, как многообразно преследовали, атаковали, мучили мужа, чтобы он не покупал! Никогда еще искусный генерал, хитрый капитан, обходящий со всех сторон стены места, куда он хотел проникнуть, не применял столь разнообразных средств. Эти владения не приносили дохода; они были прокляты, это уже было видно по судьбе одного из покупателей. Жан, который купил их, разве не был сначала засыпан градом, а Жак затоплен? Пьер, ему еще хуже, он упал с крыши. У Поля умер ребенок. Священник очень хорошо сказал: «Так погибли первенцы Египта...»

Обычно муж ничего не отвечал, поворачивался спиной, делал вид, что спит. Ему нечего было ответить на этот поток слов. Жена смущала его своей живостью чувств, наивной и трогательной красноречивостью, по крайней мере, слезами. Он не отвечал или отвечал одним словом, о котором мы скажем чуть позже. Однако он несколько не был подавлен. Ему было нелегко стать врагом Революции, своей благодетельницы, своей матери, которая приняла его сторону, судила за него, освободила его, сделала его человеком, вытащила из небытия. Даже если бы он ничего не выиграл, разве он мог не радоваться всеобщему освобождению? Разве он мог не признать этот триумф справедливости, закрыть глаза на величественное зрелище этого огромного творения: целый мир, рождающийся к жизни!

—Он сопротивлялся внутри себя. «Нет, говорил он про себя, нет, все это справедливо, что бы они ни говорили; и даже если бы я не был человеком, который от этого выиграл, я все равно считал бы это справедливым».

Так происходило почти во всей Франции. Муж сопротивлялся, человек оставался верным Революции.

В Вандее, в большей части Анжу, Мэна и Бретани победила женщина, женщина и священник, тесно объединившиеся.

Все усилия жены были направлены на то, чтобы помешать мужу купить национальное имущество. Эта земля, столь желанная крестьянином, столь горячо вожаемая им на протяжении веков, в тот момент, когда закон, так сказать, отдавал ее ему, жена бросалась вперед и отталкивала его во имя Бога. И в присутствии этой (слепой, но почетной) бескорыстности жены священник воспользовался бы материальными преимуществами, которые предлагала ему Революция? Он, безусловно, упал бы в глазах своих прихожанок, утратил бы их доверие, спустился бы с высокого идеала, на который их предвзятые сердца любили его возносить.

Много говорилось о влиянии священников на женщин, но недостаточно о влиянии женщин на священников.

Мы убеждены, что они были более искренними и ярыми фанатичками, чем сами священники; что их горячая чувствительность, их мучительное сострадание к жертвам Революции, виновным или нет, восторг, в который их ввергла трагическая легенда о короле в Темпле, о

королеве, о маленьком Дофине, о мадам де Ламбалле, одним словом, глубокая реакция сострадания и природы в сердцах женщин, составили реальную силу контрреволюции. Они увлекли, подчинили себе тех, кто, казалось, вел их, подтолкнули своих исповедников на путь мученичества, а своих мужей — на путь гражданской войны.

В XVIII веке мало кто знал душу священника. Он хорошо знал, что женщина имеет на него влияние, но, согласно старой традиции рождественских песен и басен, согласно деревенским анекдотам, он верил, что женщиной, управляющей священником, была гувернантка, та, которая спала под его крышей, служанка-любовница, душа пресвитерия. В этом он ошибался.

Без сомнения, если бы экономка была женщиной его сердца, той, которая оказывает глубокое влияние, священник с радостью принял бы блага Революции. Будучи чиновником с фиксированным доходом, достаточным для семьи, он вскоре нашел бы в естественном прогрессе нового порядка вещей свое истинное освобождение, возможность превратить сожителство в брак. Горничная не была недостойна этого. К сожалению, какими бы ни были ее достоинства, она обычно старше священника или уродлива и вульгарна. Даже если бы она была молода и красива, сердце священника не осталось бы с ней. Его сердце, как известно, не в приходе, а в исповедальне^[7]. Горничная — это его повседневная и вульгарная жизнь, его проза. Кающаяся — это его поэзия; именно с ней у него интимные и глубокие отношения сердца.

И эти отношения нигде не бывают сильнее, чем на Западе.

На наших северных границах, во всех этих переходных землях, где туда-сюда ходят войска и где витает дух войны, идеалом женщины является военный, офицер. Эполета почти непобедима.

На юге и особенно на западе идеалом женщины, по крайней мере крестьянки, является священник.

Священник из Бретани, в частности, должен был нравиться и управлять. Сын крестьянина, он по своему положению находится на одном уровне с крестьянкой, он с ней на одном языке и мыслит так же, как она: он выше ее по уровню образования, но не слишком. Если бы он был более образованным, более утонченным, чем он есть, он имел бы меньше влияния. Соседи, а иногда и семья, также помогают установить между ними отношения. Она видела этого священника ребенком, играла с ним, видела, как он рос. Он для нее как младший брат, которому она любит рассказывать о своих печалях, особенно о самых больших печалях для женщины: о том, как брак не всегда бывает браком, как даже самая счастливая женщина нуждается в утешении, а самая любимая — в любви.

Если брак — это союз душ, то настоящим мужем был исповедник. Этот духовный брак был очень крепким, особенно там, где он был чистым. Священника часто любили страстно, с самоотдачей, увлечением, ревностью, которую мало скрывали. Эти чувства проявились с особой силой в июне 91 года, когда король был возвращен из Варенна, и люди поверили в существование большого заговора на западе, и несколько директорий департаментов взяли на себя смелость заключить священников в тюрьму. Они были освобождены в сентябре, когда король присягнул на Конституцию. Но в ноябре была принята общая мера против тех, кто отказывался приносить присягу. Ассамблея уполномочила директории удалять непокорных священников из всех коммун, где возникали религиозные беспорядки.

Эта мера была мотивирована не только насилием, которому повсюду подвергались конституционные священники, но и политической и финансовой необходимостью. Лозунг, который все эти священники получили от своих церковных начальников и которому они верно следовали, заключался, как мы уже сказали, в том, чтобы заморить революцию голодом. Они делали невозможным взимание налогов. В Бретани это стало настолько опасным делом, что никто не хотел этим заниматься. Приставы и муниципальные чиновники подвергались смертельной опасности. Ассамблея была вынуждена издать декрет от 27 ноября 91 года, который отправлял непокорных священников в столицу, удаляя их от их общины, от центра их деятельности, от очага фанатизма и мятежа, где они разжигали огонь. Он переносил их в большой город, под пристальный взгляд, под тревожное наблюдение патриотических обществ.

Невозможно описать, какой шум вызвал этот декрет. Женщины раздавали крики. Закон верил в безбрачие священника; он относился к нему как к изолированному индивидууму, который может перемещаться легче, чем глава семьи. Разве священник, человек духа, привязан к местам, к людям? Разве он не является по сути своей подвижным, как дух, служителем которого он является? На все эти вопросы они отвечали отрицательно, обвиняя самих себя. В тот момент, когда закон уносил его с земли, становились заметны живые корни, которые он имел в земле; они кровоточили, кричали.

«Увы! Увезенный так далеко, увезенный в столицу, в двенадцать, пятнадцать, двадцать лиг от деревни...» Люди плакали по этому далекому изгнанию. В условиях крайней медлительности тогдашних путешествий, когда на преодоление такого расстояния уходило два дня, это вызывало еще большее огорчение. Столичный город был концом света. Чтобы совершить такое путешествие, люди составляли завещания, приводили в порядок свою совесть.

Кто может описать мучительные сцены этих вынужденных отъездов? Вся деревня собиралась, женщины преклоняли колени, чтобы еще раз получить благословение, залитые слезами, задыхаясь от рыданий... Та плакала день и ночь. Если муж и удивлялся этому, то не из-за изгнания священника, а из-за того, что собирались продать такую-то церковь, закрыть такой-то монастырь... Весной 92 года финансовые нужды Революции наконец привели к решению продать церкви, которые не были необходимы для богослужения, а также монастыри мужчин и женщин. Письмо эмигрировавшего епископа из Солсбери, адресованное урсулинкам из Ландерно, было перехвачено и подтвердило, что центром и очагом всей роялистской интриги были именно эти монастыри. Монахини не пожалели усилий, чтобы придать своему изгнанию драматический размах; они привязались к решеткам и не хотели выходить, пока муниципальные чиновники, вынужденные сами подчиняться закону и ответственные за его исполнение, не вырвали решетки из их рук.

Такие сцены, рассказываемые, повторяемые, перегруженные патетическими украшениями, возмущали всех. Мужчины начинали волноваться почти так же сильно, как и женщины. Удивительная и очень быстрая перемена! В 1788 году крестьяне воевали с Церковью из-за десятины и всегда были готовы спорить с ней. Кто же так хорошо и так быстро примирил его со священником? Сама Революция, отменив десятину. Этим более щедрым, чем политическим шагом она вернула священнику его влияние в сельской местности. Если бы десятину сохранили, крестьяне никогда бы не уступили своим женам и не взяли бы в руки оружие против Революции.

Непокорные священники, собравшиеся в столице, прекрасно знали о положении в деревнях, о глубокой скорби женщин, о мрачном возмущении мужчин. Они возложили на это большие надежды и решили сообщить об этом королю. В множестве писем, которые они

писали ему или заставляли его писать весной 92 года, они призывали его держаться твердо, не бояться революции, парализовать ее с помощью конституционного препятствия — *вето*. Они проповедовали ему сопротивление всеми тонами, с помощью различных аргументов и от имени разных людей. То это письма епископов, написанные фразами Боссюэ: «Сир, вы — самый христианский король... Вспомните своих предков... Что бы сделал святой Людовик?» и т. д. То это письма, написанные монахинями или от их имени, полные стенаний. Эти жалобные голубки, вырванные из своего гнезда, просят короля позволить им остаться в нем, умереть в нем. Другими словами, они хотят, чтобы король прекратил исполнение законов, касающихся продажи церковного имущества. Женщины из Ренна признаются, что муниципалитет предлагает им другой дом, но это не их дом, и они никогда не захотят другого.

Самые смелые и любопытные письма — это письма священников: «Сир, вы благочестивый человек, мы это знаем. Вы сделаете все, что в ваших силах... Но, наконец, знайте, что народ устал от Революции. Его настроение изменилось, он вновь обрел рвение; люди снова посещают таинства. Песни сменились гимнами... Народ с нами».

Ужасающим письмом такого рода, которое, должно быть, ввело короля в заблуждение[8], ободрило его и подтолкнуло к гибели, является письмо непокорных священников, собравшихся в Анже (9 февраля 92 года). Оно может считаться первопричиной Вандеи, оно объявляет о ней, смело предсказывает ее. В нем говорится громко и решительно, как будто под рукой, в качестве оружия, есть крестьянское восстание. Эта кровавая страница кажется написанной рукой, кинжалом Бернье, молодого священника из Анже, который, как никто другой, разжигал Вандею, осквернял ее преступлениями, разделял ее своими амбициями, эксплуатировал в своих интересах.

«Говорят, что мы возбуждаем народ? Но все наоборот. Что станет с королевством, если мы не удержим народ? Ваш трон будет опираться только на груды трупов и руин...—Вы знаете, сир, вы слишком хорошо знаете, на что способен народ, который считает себя патриотом. Но вы не знаете, на что способен народ, у которого отняли его культ, его храмы и алтари».

В этом смелом письме есть замечательное признание. Это, как видно, последний *шанс* священника, его последний крик перед гражданской войной. Он не колеблется раскрыть интимную и глубокую причину своего отчаяния, а именно боль от разлуки с теми, кем он руководит: «*Они осмеливаются прервать те связи*, которые Церковь не только допускает, но и санкционирует» и т. д.

Эти пророки гражданской войны были уверены в своем деле, они рисковали мало ошибиться, предсказывая то, что делали сами. Жены священников, гувернантки приходских священников и другие женщины первыми взорвались с яростью, превосходящей супружескую, против священников-граждан. В Сен-Серване, недалеко от Сен-Мало, произошло нечто вроде женского бунта. В Эльзасе первая забила в колокол, чтобы преследовать священников, которые принесли присягу, эконома одного из священников. Бретонские женщины не звонили, они били; они врывались в церковь, вооруженные метлами, и избивали священника у алтаря. Еще более точные удары наносили монахини. Урсулинки в своих невинных школах для девочек устраивали войну шуанов. *Дочери мудрости*, чей материнский дом находился в Сен-Лоране, недалеко от Монтегю, раздували огонь; эти добрые сестры-медсестры, ухаживая за больными, заражали их яростью.

«Пусть делают, что хотят, — говорили философы, друзья терпимости; пусть плачут и кричат, поют свои старые гимны. Что в этом плохого?». Да, но зайдите вечером в эту деревенскую церковь, куда стекается толпа людей. Слышите эти песни? Не дрожите ли вы? Литании,

гимны на старые слова под акцент превращаются в другую «Марсельезу». А это *Dies iræ*, выкрикиваемое с яростью, разве не молитва об убийстве, призыв к вечному огню?

«Пусть поют, — говорили, — они не действуют». Однако уже были заметны первые признаки волнения в толпе. В Эльзасе восемь тысяч крестьян собрались, чтобы помешать опечатать церковное имущество. Эти добрые люди, по правде говоря, как говорили, были вооружены только четками. Но вечером у них появилось другое оружие, когда конституционный священник, вернувшись домой, получил камнями по окнам, а иногда пули пробивали его ставни.

Массы подталкивали к гражданской войне не с помощью небольших, осторожных и косвенных интриг. Использовались самые грубые средства, чтобы запутать их умы, опьянить фанатизмом; их заливали ошибками и убийствами. Появлялась Пресвятая Дева Мария и требовала убивать. В Апте, в Авиньоне она проявила себя, сотворила чудеса, заявила, что не хочет больше оставаться в руках конституционалистов, и мятежники унесли ее, ценой ожесточенной борьбы. Но в Провансе слишком много солнца; Дева предпочитала появляться в Вандее, в туманах, густых зарослях, непроходимых живых изгородях. Она воспользовалась старыми местными суевериями; она явилась в трех разных местах, и всегда рядом со старым друидским дубом. Ее любимым местом был Сен-Лоран, откуда Дочери мудрости распространяли чудеса, призыв к кровопролитию.

Эта яростная и прямая подготовка к гражданской войне, это глубокое согласие женщин со священниками, священников с королем, короля (подозреваемого тогда, а впоследствии доказанного) с врагами Франции, чьи армии он призвал в 1791 году, все это, говорю я, возымело свое действие. Конституционные роялисты, которые верили, что смогут примирить свободу и королевскую власть, сохранить прежнее культовое поклонение, были жестоко опровергнуты самим королем и духовенством; они были разгромлены и уступили место жирондинцам, которые уничтожили монархию, и горнякам, которые убили короля, но тем самым создали в народном сознании и в сердцах женщин самую грозную машину контрреволюции: легенду о Людовике XVI.



XV

МАДАМ РОЛАН (91-92).

Чтобы хотеть республику, вдохновлять ее, создавать ее, недостаточно было благородного сердца и великого ума. Нужно было еще одно... И что же? Быть молодым, иметь молодость души, жар крови, плодотворную слепоту, которая уже видит в мире то, что еще только в душе, и, видя это, создает... Нужно было иметь веру.

Нужна была определенная гармония не только воли и идей, но и республиканских привычек и нравов; нужно было иметь в себе внутреннюю республику, моральную республику, единственную, которая узаконивает и обосновывает политическую республику; я имею в виду обладать самоконтролем, собственной демократией, обрести свободу в повиновении долгу... И еще нужно было, что кажется противоречивым, чтобы такая душа, добродетельная и сильная, пережила момент страсти, который вывел бы ее из себя, бросил бы ее в действие.

В плохие дни упадка, усталости, когда революционная вера в них ослабевала, многие депутаты и ведущие журналисты того времени шли за силой и мужеством в дом, где этих двух вещей никогда не доставало: скромный дом, маленькая гостиница «Британик» на улице Генего, недалеко от моста Неф. Эта довольно мрачная улица, ведущая к еще более мрачной улице Мазарин, как известно, не имеет другого вида, кроме длинных стен Монетного двора. Они поднимались на третий этаж и там неизменно находили двух человек, работающих вместе, господина и госпожу Ролан, недавно прибывших из Лиона. В маленькой гостиной стоял только стол, за которым писали супруги; в приоткрытой спальне были видны две кровати. Ролану было почти шестьдесят лет, ей — тридцать шесть, но она выглядела гораздо моложе; он казался отцом своей жены. Это был довольно высокий и худой мужчина с суровым и страстным выражением лица. Этот человек, которого слишком принижали по сравнению со славой его жены^[9], был горячим патриотом, в сердце которого жила Франция, одним из тех старых французов из рода Ваубанов и Буагильберов, которые при королевской власти не менее других преследовали святую идею общественного блага единственно доступными тогда путями. Будучи инспектором мануфактур, он всю свою жизнь провел в работе, путешествиях, в поисках улучшений, которые могли бы быть внедрены в нашей промышленности. Он опубликовал несколько отчетов о своих путешествиях, а также различные трактаты и мемуары, посвященные определенным ремеслам. Его красивая и мужественная жена, не отпугиваясь сухостью тем, копировала, переводила и компилировала для него. *«Искусство торфодобытчика»*, *«Искусство производителя шерсти»*, *«Словарь мануфактур»* заняли красивую руку мадам Ролан, поглотили лучшие годы ее жизни, не оставляя ей никаких других развлечений, кроме рождения и вскармливания единственного ребенка, который у нее был. Будучи тесно связанной с работой и идеями своего мужа, она питала к нему своего рода сыновнее почитание, часто даже сама готовила ему еду; для этого требовалась особая подготовка, поскольку желудок старика был слабым, утомленным работой.

Ролан сам писал и в то время никоим образом не пользовался пером своей жены; это произошло позже, когда он стал министром и, находясь в затруднительном положении и занимаясь бесконечными заботами, прибег к ее помощи. Она не испытывала никакого желания писать, и если бы Революция не вытащила ее из уединения, она бы похоронила эти бесполезные дары: талант, красноречие, а также красоту.

Когда приходили политики, мадам Ролан не участвовала в дискуссиях, она продолжала свою работу или писала письма; но если, как это бывало, к ней обращались, она говорила с такой живостью, выразительностью, грациозной и проникновенной силой, что все были потрясены. «Самолюбие хотело бы найти в ее словах некоторую напыщенность, но это было невозможно; она была просто слишком совершенной натурой».

С первого взгляда хотелось поверить, что перед нами Джулия из романа Руссо «^[10]»; но это было не так, это была ни Джулия, ни Софи, это была мадам Ролан, дочь Руссо, возможно, даже более законная, чем те, которые сразу же появились из-под его пера. Она не была, как две другие, благородной девушкой. Манон Филипон, так звали ее в девичьем возрасте (извиняюсь перед теми, кто не любит плебейские имена), была дочерью гравера и сама занималась гравировкой в отцовском доме. Она происходила из народа; это было легко заметно по определенному блеску кожи и цвету лица, которые гораздо реже встречаются в высших слоях общества; у нее были красивые, но не маленькие руки, немного большой рот, довольно загнутый подбородок, элегантная талия с ярко выраженной изгибом, богатые бедра и грудь, которые редко встречаются у дам.

Она отличалась от героинь Руссо еще в одном отношении: у нее не было их слабости. Мадам Ролан была добродетельной, нисколько не размягченной бездеятельностью и мечтательностью, в которых тоскуют женщины; она была в высшей степени трудолюбивой, активной, работа была для нее стражем добродетели. Священная идея *долга* витает над этой прекрасной жизнью от рождения до смерти; она сама свидетельствует об этом в последний момент, в час, когда уже не лгут: «Никто, — говорит она, — меньше меня не знал сладости». — И в другом месте: «Я властвовала над своими чувствами».

Чистая в отцовском доме на набережной Квай-де-л'Оржож, как глубокое синее небо, на которое она, по ее словам, смотрела оттуда до Елисейских полей; чистая за столом своего серьезного мужа, неустанно работая для него; чистая у колыбели своего ребенка, которого она упорно кормила грудью, несмотря на сильные боли; — она не менее чиста в письмах, которые она пишет своим друзьям, молодым людям, окружавшим ее страстной дружбой^[11]; она успокаивает и утешает их, поднимает их над их слабостью. Они оставались ей верны до самой смерти, как самой добродетели.

Один из них, не думая об опасности, в разгар террора приходил к ней в тюрьму, чтобы получить бессмертные листы, на которых она рассказала о своей жизни. Сам изгнанный и преследуемый, бежавший по снегу, без крова, кроме покрытого инеем дерева, он спас эти священные листы; возможно, они спасли его, сохранив на его груди тепло и силу великого сердца, которое их написало^[12].

Люди, страдающие от вида слишком совершенной добродетели, с беспокойством искали в жизни этой женщины какие-нибудь слабости; и, не имея ни доказательств, ни малейших признаков^[13], они вообразили, что в разгар драмы, в которой она стала действующим лицом, в самый мужественный момент, среди опасностей, ужасов (после сентября, по-видимому? или накануне кораблекрушения, которое унесло Жиронду?), мадам Ролан имела время и сердце, чтобы слушать галантные речи и заниматься любовью... Единственное, что их смущает, это найти имя избранного любовника.

Опять же, нет никаких фактов, которые бы подтверждали эти предположения. Мадам Ролан, как все свидетельствует, всегда была хозяйкой самой себя, абсолютной повелительницей своей воли и своих поступков. Не испытывала ли она никаких эмоций? Не было ли у этой сильной, но страстной души своих бурь? Это совсем другой вопрос, и я без колебаний отвечаю: да.

Позвольте мне настаивать. Этот факт, который пока мало кто заметил, не является безразличным, чисто анекдотическим подробностью из частной жизни. Он оказал серьезное влияние на мадам Ролан в 91 году, и то мощное воздействие, которое она оказала с того времени, было бы гораздо менее понятным, если бы мы не видели явных причин, которые тогда волновал эту душу, до того спокойную и сильную, но сильную внутри себя и не проявляющуюся вовне.

Мадам Ролан вела свою скромную, трудолюбивую жизнь в 89 году в унылом поместье Платьер, недалеко от Вильфранша и Лиона. Вместе со всей Францией она слышит пушечные выстрелы Бастилии: ее сердце трепещет и замирает; это чудесное событие кажется воплощением всех ее мечтаний, всего, что она читала у древних, воображала, надеялась; теперь у нее есть родина. Революция распространяется по Франции; пробуждаются Лион, Вильфранш, сельская местность, все деревни. Федерация 90-го года созывает в Лион половину королевства, все делегации национальной гвардии, от Корсики до Лотарингии. С самого утра мадам Ролан была в восторге на прекрасной набережной Роны и опьянялась всем этим народом, этим новым братством, этим великолепным рассветом. Вечером она

написала об этом рассказ для своего друга Шампаньё, молодого человека из Лиона, который без всякой выгоды, из чистого патриотизма, издавал газету. Неподписанный номер был продан тиражом в шестьдесят тысяч экземпляров. Все эти национальные гвардейцы, возвращаясь домой, невольно унесли с собой душу мадам Ролан.

Она тоже вернулась, задумчивая, в свою пустыню, в усадьбу Платьер, которая казалась ей еще более бесплодной и засушливой, чем обычно. Не имея отношения к технической работе, которой занимался ее муж, она читала интересный *протокол избирателей 89 года*, о революции 14 июля, о взятии Бастилии. Случайным образом один из этих избирателей, г-н Банкаль дес Иссар, был направлен к Роланам их друзьями из Лиона и провел у них несколько дней. Г-н Банкаль, происходивший из семьи фабрикантов из Монпелье, но переехавший в Клермон, был там нотариусом; он только что оставил эту прибыльную должность, чтобы полностью посвятить себя изучению выбранных им предметов, политическим и филантропическим исследованиям, гражданским обязанностям. Ему было около сорока лет, он не был блестящим человеком, но отличался мягкостью и чувствительностью, добрым и милосердным сердцем. Он получил очень религиозное воспитание и, пройдя через период философских и политических поисков, Конвент, длительное пленение в Австрии, умер с глубоким чувством благочестия, читая Библию, которую он пытался читать на иврите.

Его привез в Платьер молодой врач Лантенас, друг Роланов, который часто бывал у них, проводил там недели, месяцы, работая с ними, для них, выполняя их поручения. Мягкость Лантенаса, чувствительность Банкаля дес Иссара, строгая, но сердечная доброта Ролана, их общая любовь к прекрасному и доброму, их привязанность к этой совершенной женщине, которая олицетворяла для них все это, естественным образом сформировали группу, полную гармонию. Они так хорошо ладили друг с другом, что задались вопросом, не могли бы они продолжить жить вместе. Кто из троих первым высказал эту идею, неизвестно, но она была с энтузиазмом подхвачена Роландом и горячо поддержана. Роланды, собрав все, что у них было, могли вложить в общество шестьдесят тысяч лир; Лантенас имел двадцать или чуть больше, к чему Банкаль добавил бы сто тысяч. Это составляло довольно круглую сумму, которая позволяла им покупать национальные ценности, стоившие тогда очень дешево.

Нет ничего более трогательного, достойного и честного, чем письма, в которых Роланд рассказывает Банкалю об этом проекте. Это благородное доверие, вера в дружбу и добродетель дают о Роланде и всех них самое высокое представление: «Приходи, мой друг, — говорит он ему. — Чего же ты ждешь? Вы видели нашу откровенность и прямоту: в моем возрасте не меняются, если никогда не менялись... Мы проповедуем патриотизм, возвышаем душу; доктор занимается своим делом; моя жена — аптекарь для больных в округе. Вы и я будем заниматься делами» и т. д.

Главное дело Ролана заключалось в том, чтобы проповедовать крестьянам этой местности новое Евангелие. Несмотря на свой возраст, он был замечательным путешественником и иногда, с палкой в руке, отправлялся в Лион со своим другом Лантенасом, сея по пути доброе семя свободы. Достойный человек верил, что найдет в Банкале полезного помощника, нового миссионера, чьи мягкие и ласковые слова будут творить чудеса. Привыкший видеть бескорыстную преданность молодого Лантенаса мадам Роланд, он даже не мог себе представить, что Банкаль, более пожилой и серьезный, мог принести в его дом что-то другое, кроме мира. Он так глубоко любил свою жену, что почти забыл, что она женщина, видя в ней

только неизменную спутницу своих трудов. Трудолюбивая, сдержанная, свежая и чистая, с прозрачной кожей и твердым, ясным взглядом, мадам Ролан была самым успокаивающим образом силы и добродетели. Ее грация была женской, но ее мужской ум и стоическое сердце были мужскими. Глядя на ее друзей, можно сказать, что рядом с ней именно они являются женщинами: Банкаль, Лантенас, Боск, Шампаньё — все они имеют довольно мягкие черты. А самым женственным из всех по сердцу, самым слабым по своему характеру, возможно, является тот, кого считают самым твердым, строгий Роланд, слабый из-за глубокой страсти старика, зависящего от жизни другого; это проявится слишком явно после смерти.

Ситуация была бы, если не опасной, то по крайней мере полной борьбы и бурь. Это был Вольмар, призывающий Сен-Прю к Жюли, это была лодка, подвергающаяся опасности у скал Мейлери. Не было бы кораблекрушения, давайте верить в это, но лучше было не садиться в лодку.

Об этом мадам Ролан пишет Банкалю в добродетельном, но в то же время слишком наивном и слишком эмоциональном письме. Это письмо, очаровательно неосторожное, осталось тем самым бесценным памятником чистоты мадам Ролан, ее неопытности, девственности сердца, которую она всегда сохраняла... Его можно читать только на коленях.

Ничто никогда не удивляло и не трогало меня больше... Что же! Этот герой был на самом деле женщиной? Вот единственный момент, когда его великое мужество пошатнулось. Доспехи воина распахнулись, и мы видим женщину с раненой грудью Клоринды.

Банкаль написал Роландам нежное, ласковое письмо, в котором говорил об этом предполагаемом союзе: «Он станет очарованием нашей жизни, и мы не будем бесполезны для наших братьев». Роланд, находившийся в то время в Лионе, переслал письмо своей жене. Она была одна в деревне; лето было очень засушливым, жара была сильной, хотя уже был октябрь. Грохотал гром, и в течение нескольких дней он не умолкал. Буря в небе и на земле, буря страстей, буря Революции... Несомненно, грянули большие беспорядки, неизвестный поток событий, которые вскоре должны были перевернуть сердца и судьбы; в эти великие моменты ожидания человек охотно верит, что гром гремит для него.

Мадам Ролан едва прочитала это, как ее залили слезы. Она села за стол, не зная, что написать; она написала о своем смятении, не скрывая, что плачет. Это было гораздо больше, чем нежное признание. Но в то же время эта замечательная и мужественная женщина, разрушая свои надежды, заставила себя написать: «Нет, я не уверена в вашем счастье, я не простила бы себе, если бы помешала ему. Мне кажется, что вы привязываете его к средствам, которые я считаю ложными, к надежде, которую я должна запретить». Все остальное — это трогательная смесь добродетели, страсти, непоследовательности; время от времени меланхолический акцент и какое-то мрачное предчувствие судьбы: «Когда мы снова увидимся? ... Этот вопрос я часто задаю себе и не смею ответить... Но зачем пытаться проникнуть в будущее, которое природа хотела от нас скрыть? Давайте оставим его под величественной завесой, которой она его покрывает, раз нам не дано его проникнуть; мы имеем на него только одно влияние, и оно, без сомнения, велико: подготовить его счастье мудрым использованием настоящего...»—И далее: «Не прошло и суток, как раздался гром. Он снова загремел. Мне нравится оттенок, который он придает нашей сельской местности, он величественный и мрачный, но он был бы ужасен, если бы не внушал мне большего страха...»

Банкаль был мудрым и честным человеком. Несмотря на зиму, он провел в Англии очень печальное время и остался там надолго. Смее ли я сказать? Возможно, дольше, чем хотела

бы сама мадам Ролан. Такова непостоянность сердца, даже самого добродетельного. Ее письма, если внимательно их читать, показывают странные колебания: она отдаляется, она сближается; то она не доверяет себе, то успокаивается.

Кто скажет, что в феврале, уезжая в Париж, куда дела города Лиона привели Ролана, она не испытывала тайной радости от того, что окажется в большом центре, куда Банкаль обязательно вернется? Но именно Париж вскоре придает ее идеям совершенно и е направление. Страсть преобразуется, она полностью обращается к делам государственным. Очень интересно и трогательно наблюдать за этим. После больших эмоций, вызванных Лионским союзом, этого трогательного зрелища объединения всего народа, она почувствовала себя слабой и нежной в своих личных чувствах. А теперь, увидев Париж, эти чувства вновь становятся всеобщими, гражданскими и патриотическими; мадам Ролан находит себя и любит только Францию.

Если бы речь шла о другой женщине, я бы сказала, что она была спасена от самой себя Революцией, Республикой, борьбой и смертью. Ее строгий союз с Роланом был подтвержден их совместным участием в событиях того времени. Этот брак по расчету стал браком совместной борьбы, жертв, героических усилий. Сохранившись таким образом, она пришла чистой и победоносной на эшафот, к славе.

Она прибыла в Париж в феврале 91 года, накануне того серьезного момента, когда должен был подняться вопрос о Республике; она принесла с собой две силы: добродетель и страсть. До этого времени уединенная в своей пустыне для великих событий, она прибыла с молодостью духа, свежестью идей, чувств, впечатлений, чтобы омолодить самых утомленных политиков. Они уже были утомлены; она же родилась в этот день.

Еще одна таинственная сила. Этот очень чистый человек, чудесно охраняемый судьбой, пришел в тот день, когда женщина становится грозной, когда долг уже не достаточно, когда сердце, долго сдерживаемое, изливается. Она пришла непобедимой, с неизвестной силой импульса. Никакие угрызения совести не сдерживали ее; счастье хотело, чтобы, победив или обойдя личное чувство, душа полностью обратилась к благородной, великой, добродетельной, славной цели и, чувствуя в ней только честь, бросилась на всех парах в этот новый океан революции и родины.

Вот почему в этот момент она была непреодолима. Примерно таким был Руссо, когда после своей несчастной страсти к мадам д'Удело, вернувшись к себе и углубившись в себя, он обрел там огромный очаг, это неугасимое пламя, которое зажгло весь век; наш век, спустя сто лет, все еще чувствует его тепло.

Ничто не было суровее первого взгляда мадам Ролан на Париж. Ассамблея вызывает у нее отвращение, ее друзья вызывают у нее жалость. Сидя на трибунах Ассамблеи или якобинцев, она пронзительным взглядом проникает в характер каждого, видит обнаженными ложь, трусость, подлость, комедию конституционалистов, уклончивость, нерешительность друзей свободы. Она не щадит ни Бриссо, которого любит, но считает робким и легкомысленным, ни Кондорсе, которого считает двуличным, ни Фоше, в котором «она ясно видит священника». Она едва ли щадит Петиона и Робеспьера; тем не менее, видно, что их медлительность и осторожность не соответствуют ее нетерпеливости. Молодая, горячая, сильная, строгая, она требует от них всех отчета, не хочет слышать ни о каких отсрочках и препятствиях; она призывает их быть мужчинами и действовать.

При виде печального зрелища свободы, которую, по ее мнению, уже можно было увидеть, на которую можно было надеяться, но которая уже была утрачена, она хотела бы вернуться в

Лион, «она проливает кровавые слезы... Нам нужно, — говорит она (5 мая), — новое восстание, иначе мы потеряны для счастья и свободы; но я сомневаюсь, что у народа хватит сил... Даже гражданская война, каким бы ужасным явлением она ни была, способствовала бы возрождению нашего характера и наших нравов... — Надо быть готовым ко всему, даже к смерти без сожаления».

Поколение, которое так легко отчаивает мадам Ролан, обладало замечательными дарами: верой в прогресс, искренним стремлением к счастью людей, горячей любовью к общественному благу; оно поразило мир величиим своих жертв. Однако, надо сказать, что в то время, когда ситуация еще не требовала решительных действий, эти характеры, сформированные при старом режиме, не проявляли себя с мужественной и строгой стороны. Не хватало мужества духа. Ни у кого не было гениальной инициативы; я не исключаю из этого Мирабо, несмотря на его гигантский талант.

Люди того времени, надо сказать, уже много писали, говорили, боролись. Сколько работы, дискуссий, событий накопилось! Сколько быстрых реформ! Какое обновление мира! Жизнь важных людей в Ассамблее и в прессе была настолько трудоемкой, что нам кажется проблемой; два заседания Ассамблеи, без отдыха, как заседания якобинцев и других клубов, до одиннадцати часов или полуночи; затем речи, которые нужно было подготовить на следующий день, статьи, дела и интриги, заседания комитетов, политические совещания... Огромный порыв первых мгновений, бесконечная надежда сначала позволяли им все это выносить. Но в конце концов усилия продолжались, работа была бесконечной и безграничной; они немного сдались. Это поколение уже не было полно сил и энергии; какими бы искренними ни были его убеждения, у него не было молодости, свежести ума, первоначального порыва веры.

22 июня, в условиях всеобщего колебания политиков, мадам Ролан не колебалась. Она написала и распорядилась написать в провинции, чтобы в противовес слабому и бледному обращению якобинцев первичные собрания потребовали созыва общего собрания: «Чтобы решить, следует ли сохранять монархическую форму правления». 24 июня она очень хорошо доказала, «что любая регентство невозможно, что нужно отстранить Людовика XVI» и т. д.

Все или почти все отступали, колебались, еще не определились. Они взвешивали соображения интересов, целесообразности, ждали друг друга, считали себя. «В 89 году нас было не двенадцать республиканцев», — говорит Камиль Демулен. В 91 году их число значительно увеличилось благодаря путешествию в Варен, и было огромное количество республиканцев, которые были таковыми, не зная об этом; нужно было научить их самих. Только те, кто не хотел рассчитывать, хорошо рассчитывали дело. Во главе этого авангарда шла мадам Ролан; она бросила золотой меч на нерешительные весы, свою храбрость и идею права.

XVI

МАДАМ РОЛАН (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

Судя по ее письмам, мадам Ролан в то время была гораздо более жестокой, чем казалась позже. Она прямо говорила: «Падение трона предначертано судьбой империй... Король должен быть судим... Как ни жестоко это думать, но мы можем возродиться только через кровь».

Резня на Марсовом поле (июль 91 года), где те, кто требовал республики, были расстреляны на алтаре, показалась ей смертью свободы. Она проявила трогательную заботу о Робеспьере, которого считали находящимся в опасности. В одиннадцать часов вечера она пошла на улицу Сентонж в Марэ, где он жил, чтобы предложить ему убежище. Но он остался у столяра Дюпле на улице Сен-Оноре. Оттуда господин и госпожа Ролан отправились к Бузо, чтобы попросить его защитить Робеспьера в Ассамблее. Бузо отказался, но Грегуар, который был там, взял на себя эту обязанность.

Они приехали в Париж по делам города Лиона. Добившись своего, они вернулись в свое уединение. Сразу же (27 сентября 91 года) мадам Ролан написала Робеспьеру очень красивое письмо, одновременно спартанское и сентиментальное, досточное, но льстивое. Это письмо, немного напряженное, возможно, проникнуто расчетом и политическими намерениями. Она была явно поражена удивительной гибкостью, с которой якобинская машина, далекая от разрушения, поднималась тогда по всей Франции, и большой политической ролью человека, который находился в центре общества. Я обращаю внимание на следующие отрывки:

«Даже если бы я следил за деятельностью Законодательного собрания по публичным документам, я бы выделил небольшое число мужественных людей, верных своим принципам, и среди этих людей того, чья энергия не переставала... и т. д. Я бы посвятил этим избранникам свою привязанность и признательность. (Далее следуют очень высокие мысли: творить добро, как Бог, не желая признательности.) Немногие возвышенные души, способные на великие дела, разбросанные по поверхности земли и подчиненные обстоятельствам, никогда не могут объединиться, чтобы действовать сообща... (Она грациозно обрамляет своего ребенка, природу, однако печальную природу. Она обрисовывает каменистый ландшафт, необычайную засуху. Лион — аристократ. В деревне считают Ролана аристократом; кричали: «На фонарь!» и т. д.) — Вы многое сделали, месье, чтобы продемонстрировать и распространить эти принципы; прекрасно и утешительно иметь возможность дать себе такое свидетельство в возрасте, когда многие другие не знают, какая карьера их ждет... Если бы я думала только о том, что я могу вам сообщить, я бы воздержалась от письма; но, не имея ничего нового вам сообщить, я поверила в то, с каким интересом вы воспримите новости о двух людях, чьи души созданы для того, чтобы чувствовать вас, и которые любят выражать вам свое уважение, которое они оказывают немногим, и привязанность, которую они посвящают только тем, кто ставит выше всего славу быть справедливыми и счастье быть чувствительными. Господин Ролан только что присоединился ко мне, уставший, опечаленный...» и т. д.

Мы не видим, чтобы он ответил на эти ухаживания. Между жирондинцами и якобинцами была разница, не случайная, а естественная, врожденная, разница видов, инстинктивная ненависть, как между волком и собакой. Мадам Ролан, в частности, своими блестящими и мужественными качествами пугала Робеспьера. Оба обладали тем, что, казалось бы, могло сблизить людей, но, напротив, вызывало между ними самую живую антипатию: у них *был один и тот же недостаток*. Под героизмом одной, под замечательной настойчивостью другого скрывался общий недостаток, скажем так, нелепость. Оба они всегда писали, *они были рожденными писцами*. Как мы увидим, озабоченные стилем не меньше, чем делами, они писали ночью, днем, живя, умирая; в самых страшных кризисах и почти под ножом перо и стиль были для них навязчивой мыслью. Настоящие сыновья восемнадцатого века, века, по словам немцев, выдающегося в литературе и художественной прозе, они сохранили этот характер в трагедиях другого века. Мадам Ролан с спокойным сердцем пишет, ухаживает, ласкает свои замечательные портреты, в то время как глашатаи поют под ее окнами: «Смерть

жены Ролана». Робеспьер накануне 9 термидора, между мыслью об убийстве и мыслью о эшафоте, заканчивает свой период, менее заботясь, как кажется, о жизни, чем о том, чтобы остаться хорошим писателем.

Как политики и литераторы, с тех пор они мало любили друг друга. К тому же Робеспьер слишком точно понимал, слишком хорошо осознавал единство жизни, необходимое для великих тружеников, чтобы легко сблизиться с этой женщиной, этой королевой. Рядом с мадам Ролан, какой была бы жизнь друга? Либо покорность, либо буря.

М. и мадам Ролан вернулись в Париж только в 92 году, когда сила обстоятельств, неминуемое падение трона, привела Жиронду к власти. Мадам Ролан была в золотых салонах министерства внутренних дел такой же, какой она была в своем деревенском уединении. Только то, что было в ней естественно серьезным, сильным, мужественным, напряженным, часто выглядело высокомерием и создавало ей много врагов. Неправда, что она раздавала должности, скорее наоборот, она отмечала прошения строгими словами, которые отталкивали просителей.

Два министерства Ролана относятся скорее к истории, чем к биографии. Только одно слово о знаменитом письме королю, по поводу которого, конечно же, несправедливо, были выдвинуты обвинения в нелояльности министра и его жены.

Ролан, республиканский министр короля, каждый день чувствуя себя все более неуместным в Тюильри, согласился ступить в это роковое место только при условии, что специально назначенный секретарь будет ежедневно записывать все обсуждения, мнения, чтобы осталось свидетельство, и чтобы в случае вероломства можно было по каждому вопросу разделить и различить, точно определить долю ответственности каждого.

Обещание не было выполнено; король не захотел этого. Тогда Ролан принял два меры, которые его защищали. Убежденный в том, что гласность — душа свободного государства, он ежедневно публиковал в газете *«Термометр»* все, что могло быть полезно из решений совета; с другой стороны, он написал от руки, а его жена напечатала, откровенное, живое и сильное письмо, чтобы передать королю, а позже, возможно, и общественности, если король будет издеваться над ним.

Это письмо не было конфиденциальным; оно никоим образом не обещало секретности, что бы ни говорили. Оно было явно адресовано как Франции, так и королю, и говорило, прямо говоря, что Ролан прибег к этому средству только из-за отсутствия секретаря и реестра, которые могли бы свидетельствовать в его пользу.

Оно было передано Роланом 10 июня, в тот же день, когда двор запустил против Ассамблеи новую машину, угрожающую петицию, в которой вероломно говорилось от имени восьми тысяч мнимых гвардейцев, что призыв двадцати тысяч федератов из департаментов был оскорблением для национальной гвардии Парижа.

11 или 12 числа, поскольку король не упомянул о письме, Ролан решил зачитать его вслух на заседании совета. Этот действительно красноречивый документ является высшим проявлением республиканской лояльности, который, тем не менее, показывает королю последнюю возможность спасения. В нем есть суровые слова, но есть и благородные и нежные, такие как это великолепное: «Нет, родина — это не просто слово; это существо, которому мы приносили жертвы, к которому мы привязываемся каждый день благодаря заботам, которые оно вызывает, которое мы создали большими усилиями, которое возвышается среди беспокойств и которое мы любим столько же за то, что оно стоит,

сколько за то, что мы от него ожидаем...» Далее следуют серьезные предупреждения, слишком правдивые предсказания о страшных шансах сопротивления, которое заставит Революцию закончиться кровью.

Это письмо имело самый большой успех, на который мог надеяться его автор. Оно привело к его увольнению.

Мы уже отмечали в других местах ошибки второго министерства Ролана: нерешительность остаться в Париже или покинуть его при приближении вторжения, неуклюжесть, с которой был атакован Робеспьер столь легкомысленным человеком, как Луве, и недалекость, с которой были отвергнуты предложения Дантона. Когда ему вменяли в вину, что он не ускорил продажу национального имущества и оставил Францию без денег в такой опасной ситуации, Ролан приложил все усилия, чтобы не заслужить этого упрека, но департаментские администрации Жиронды остались глухи к самым настоятельным приказам и требованиям.

С сентября 92 года господин и госпожа Ролан подвергались величайшей опасности для жизни и чести. Не посмели воспользоваться кинжалом; прибегли к более жестокому оружию клеветы. В декабре 92 года интриган по имени Виард пошел к Шабо и Марату и убедил их арестовать участников большого заговора жирондистов, среди них были Ролан и его жена. Марат клюнул на удочку с жестокостью акулы; когда в воду бросают дерево, камни или железо, хищная рыба проглатывает все без разбора. Шабо был очень легкомысленным, легковверным, с острым умом, но без здравого смысла и еще меньше такта; он поспешил поверить, не удосужившись проверить. Конвент потерял целый день на то, чтобы сам провести расследование, спорить и ругаться. Виарду оказали честь, пригласив его, и стало ясно, что этот уважаемый свидетель, представленный Шабо и Маратом, был шпионом, который, вероятно, работал на все партии. Вызвали и выслушали мадам Ролан, которая тронула всю Ассамблею своей грацией и разумом, своими словами, полными смысла, скромности и такта. Шабо был подавлен. Марат, в ярости, вечером написал в своей газете, что все это было устроено роландистами, чтобы одурачить патриотов и выставить их в смешном свете.

2 июня, когда большинство жирондистов уехали или скрылись, самыми смелыми, без сомнения, были Роланы, которые никогда не удостоили себя ночевкой вне дома или сменой убежища. Мадам Ролан не боялась ни тюрьмы, ни смерти; она не боялась ничего, кроме личного оскорбления, и, чтобы всегда оставаться хозяйкой своей судьбы, не ложилась спать, не положив пистолет под изголовье кровати. Узнав, что Коммуна издала указ об аресте Ролана, она поспешила в Тюильри с героической (более чем разумной) идеей сокрушить обвинителей, поразить Монтанью своей красноречивостью и мужеством, вырвать у Ассамблеи свободу для своего мужа. Сама она была арестована ночью. Всю эту сцену нужно прочитать в ее замечательных мемуарах, которые часто кажутся написанными не женской рукой, а кинжалом Катона. Но некоторые слова, вырванные из материнской глубины, некоторые трогательные намеки на безупречную дружбу порой слишком явно дают понять, что этот великий человек — женщина, что эта душа, будучи такой сильной, увы, не менее была и нежной.

Она не сделала ничего, чтобы избежать ареста, и в свою очередь оказалась в Консьержерии, рядом с камерой королевы, под этими сводами, едва овдовевшими Верньо, Бриссо и полными их теней. Она пришла туда величественно, героически, как и Верньо, выпив яд, который у нее был, и желая умереть при свете дня. Она верила, что своим мужеством в суде и твердостью в смерти она воздаст честь Республике. Те, кто видел ее в Консьержерии, говорят, что она по-прежнему была красива, полна очарования, молода в

свои тридцать девять лет; из ее прекрасных глаз струилась полная и мощная молодость, сокровище сдержанной жизни. Ее сила проявлялась прежде всего в ее разумной мягкости, в безупречной гармонии ее личности и ее слов. В тюрьме она развлекалась тем, что писала Робеспьеру, не для того, чтобы что-то у него просить, а для того, чтобы преподать ему урок. Она делала это в суде, когда ей заткнули рот. 8-е, когда она умерла, было холодным ноябрьским днем. Оголенная и унылая природа отражала состояние душ; Революция тоже погружалась в зиму, в смерть иллюзий. Между двумя безлистными садами, с наступлением ночи (в пять часов тридцать минут вечера), она подошла к подножию колоссальной статуи Свободы, сидящей рядом с эшафотом, на месте, где находится обелиск, легко поднялась по ступенькам и, обратившись к статуе, сказала с серьезной мягкостью, без упрека: «О, Свобода! Сколько преступлений совершено во имя тебя!»

Она принесла славу своей партии, своему мужу, и не мало способствовала их гибели. Она невольно затмила Роланда в будущем. Но она отдавала ему должное, она испытывала к этой древней, восторженной и строгой душе нечто вроде религиозного почитания. Когда у нее на мгновение возникла мысль отравиться, она написала ему, чтобы извиниться за то, что распоряжается своей жизнью без его согласия. Она знала, что у Ролана была только одна слабость — его бурная любовь к ней, тем более глубокая, чем больше он ее сдерживал.

Когда ее судили, она сказала: «Роланд убьет себя». Ему не удалось скрыть от него ее смерть. Уединившись недалеко от Руана, в доме своих верных подруг, он скрылся и, чтобы запутать следы, решил уехать подальше. В то время года старик не мог уйти далеко. Он нашел плохую почту, которая ехала шагом; дороги 93 года были просто размыты. Он прибыл к границе Эра только вечером. В условиях полного отсутствия полиции воры разбойничали на дорогах, нападали на фермы; жандармы преследовали их. Это встревожило Ролана, и он не стал откладывать то, что решил. Он сошел с дороги, свернул на аллею, которая вела к замку, остановился у подножия дуба, достал свою трость с жалом и пронзил себя насквозь. У него нашли его имя и слова: «Уважайте останки добродетельного человека». Будущее не опровергло его. Он унес с собой уважение своих противников, особенно Роберта Линдета^[14].

XVII

МАДЕМУАЗЕЛЬ КЕРАЛИО (МАДАМ РОБЕР) (17 ИЮЛЯ 91).

Первоначальный акт Республики, знаменитая петиция Марсового поля о непризнании *ни Людовика XVI, ни какого-либо другого короля*, этот акт, импровизированный среди толпы на алтаре отечества (16 июля 91 года), до сих пор хранится в архивах департамента Сены. Он был написан кордельером Робертом.

Его жена, мадам Роберт (мадемуазель Кералио), рассказала об этом вечером мадам Ролан. И сам акт свидетельствует об этом. Он явно написан почерком Роберта, который подписал его одним из первых.

Роберт был полным человеком, у которого было больше патриотизма, чем таланта, и никаких способностей. Его жена, напротив, известная писательница, неутомимая журналистка, с живым, быстрым и горячим умом, скорее всего, диктовала.

Этот документ весьма примечателен. Он был действительно импровизирован. Якобинцы были против него. Даже жирондист Бриссо, который хотел свержения короля, составил проект скромной петиции, которую Кордельеры отвергли. Некоторые лидеры кордельеров были арестованы утром, другие скрылись, чтобы избежать ареста. Наступил момент, когда Дантон, Демулен, Фрерон, Лежандр не появились, и второстепенные кордельеры, такие как Роберт, оказались на переднем плане и смогли взять на себя инициативу.

Маленькая мадам Робер, ловкая, остроумная и гордая (таков ее портрет, нарисованный мадам Ролан), прежде всего амбициозная, нетерпеливая, долгое время прозябавшая в неизвестности, как женщина, которая пишет, чтобы заработать на жизнь, ухватила за эту возможность. Она диктовала, в этом я не сомневаюсь, а толстый Робер писал.

Стиль, кажется, выдает автора. Речь прерывистая, как у человека, задыхающегося от волнения. Несколько удачных небрежностей, небольшие всплески эмоций (как гнев женщины или колибри) довольно ясно выдают женскую руку. «Но, господа, представители щедрого и доверчивого народа, помните», и т. д., и т. д.

Мадам Ролан утром была на Марсовом поле, чтобы предчувствовать, как будут развиваться события. Она вернулась, вероятно, полагая, что ничего не поделаешь. Накануне вечером она видела, как зал якобинцев был заполнен странной толпой, которую, по всей вероятности, оплатили орлеанисты, желавшие обратить республиканское движение в свою пользу.

Таким образом, только кордельеры во главе с господином и госпожой Роберт, оставшиеся на Марсовом поле среди народа и писавшие для него, действительно проявили эту смелую инициативу, которой вскоре воспользовались жирондисты, а затем и якобинцы.

Кем была мадам Роберт (мадемуазель Керальо)?

Ее отец был бретонцем, но она родилась в Париже в 1758 году, и тогда ей было тридцать три года. Она была женщиной литературы, можно сказать, ученым, воспитанным своим отцом, членом Академии надписей. Гинем де Керальо, рыцарь Святого Людовика, был приглашен вместе с Кондильяком для обучения принца Пармского. Преподаватель тактики в Военной школе, инспектор провинциальной военной школы, он имел среди своих учеников молодого корсиканца Бонапарта. Поскольку его зарплаты не хватало на содержание семьи, он писал в *Mercure*, в *Journal des savants*, а также делал множество переводов. Маленькая Керальо не достигла еще и семнадцати лет, когда она уже переводила и составляла сборники. В восемнадцать лет она написала роман («Аделаида»), который остался незамеченным. Затем она потратила десять лет на создание серьезного произведения, длинной «Истории Елизаветы», полной исследований и изысканий. К сожалению, это великое произведение было завершено только в 89 году; было уже слишком поздно; историю писали, а не читали. Отец и дочь быстро обратились к делам времени. Мадемуазель Керальо стала журналисткой, редактировала «Журнал государства и гражданина». Старый Керальо был под командованием Лафайета инструктором национальной гвардии. Не похоже, что ни он, ни она извлекли из этого большую пользу. Он потерял работу, которая обеспечивала ему средства к существованию, когда его дочь, достигшая зрелого возраста, нашла себе мужа.

Этот муж, ярый противник партии Лафайета, был кордельером Робертом, который в конце 90-х годов, смело следуя по стопам Камиля Демулена, написал работу «Республиканизм, приспособленный к Франции». Мадемуазель Керальо, родившаяся в аристократической семье и воспитанная в мире старого режима, с энтузиазмом бросилась в движение. Ее брак перенес ее в самое горячее очаг парижских волнений, в клуб Кордельеров. В тот день, когда лидеры Кордельеров, арестованные или бежавшие, не смогли занять опасный пост у алтаря

отечества, она была там, она действовала и, рукой своего мужа, совершила решающий поступок.

Это было не без риска. Хотя никто не мог предвидеть массового убийства, которое вечером устроили роялисты и солдаты Лафайета, с самого утра Марсово поле стало свидетелем трагической сцены, роковой шутки, закончившейся кровавым актом. Как бы печально и постыдно ни было это подробность, мы не можем ее опустить; она слишком тесно связана с нашей темой.

Роялисты-дворяне были веселыми людьми. В своих *«Деяниях апостолов»* и в других местах они без устали высмеивали своих врагов. Их особенно веселило исчезновение лидеров кордельеров, побои, которые некоторые из них получили от файеттистов. Роялисты низшего сословия, бывшие лакеи, швейцары, парикмахеры, тоже имели свои шутки; когда они осмеливались, они подшучивали над революционерами. Особенно парикмахеры, разоренные революцией, были яркими роялистами. Агенты, посланцы удовольствий при старом режиме, необходимые свидетели самых свободных сцен в спальне, они также были, как правило, распутниками по собственному желанию. Один из них в субботу вечером, накануне 17 июля, придумал то, что могло прийти в голову только бездельнику-развратнику: он решил устроиться под досками алтаря отечества и заглядывать под юбки женщинам. В то время уже не носили корсеты, а юбки, сильно раздутые сзади. Высокомерные республиканки, трибуны в шапках, ораторы клубов, римлянки, дамы литературы, гордо поднимались туда. Парикмахер находил забавным смотреть (или представлять), а затем делать из этого пикантные анекдоты. Ложное или правдивое, это, без сомнения, было бы живо воспринято в роялистских салонах; там царила очень свободная атмосфера, даже среди самых высокопоставленных дам. В мемуарах Лозуна с удивлением читаешь, что осмеливались говорить в присутствии королевы. Читательницы *«Фаубла»* и других, гораздо более непристойных книг, без сомнения, с жадностью восприняли бы эти дерзкие описания.

Парикмахер, как и тот из *«Лютрина»*, чтобы запереться в этой темноте, захотел иметь компаньона и выбрал храброго старого инвалида-солдата, не менее роялиста и не менее распутника. Они берут провизию, бочку с водой, ночью отправляются на Марсово поле, поднимают доску, спускаются вниз и ловко ставят ее на место. Затем с помощью сверла они начали проделывать отверстия. Ночи в июле короткие, уже было светло, а они все еще работали. Ожидание великого дня пробудило многих людей, а также нищету, надежду продать что-нибудь толпе; продавщица пирожных или лимонада, опередившая других, уже бродила в ожидании у алтаря отечества. Она чувствует сверло под ногами, пугается и кричит. Там был ученик, который пришел, чтобы усердно копировать патриотические надписи. Он бежит звать стражу Гро-Кайю, которая не хочет двигаться; он бежит в мэрию, приводит людей, инструменты, открывают доски, находят двух виновников, очень понурых, которые притворяются спящими. Им грозила беда; тогда на алтаре отечества не шутили: один офицер погиб в Бресте за то, что насмеялся над ним. Здесь, в качествеотягчающего обстоятельства, они признаются в своем гнусном желании. Население Грос-Кайю состоит исключительно из прачек, суровых женщин, вооруженных палками для белья, которые во время Революции иногда устраивали бунты и восстания. Эти дамы очень плохо восприняли признание в оскорблении женщин. С другой стороны, среди толпы ходили другие слухи: говорили, что они, чтобы совершить покушение, получили обещание пожизненной ренты; бочка с водой, переходя из уст в уста, превратилась в бочку с порохом; затем последовало заключение: «Они хотели взорвать народ...». Охрана больше не могла их защищать, их вытащили, перерезали им горло; затем, чтобы напугать аристократов, отрезали обе головы и понесли их по Парижу. В половине девятого или девять часов они были в Пале-Рояле.

Через мгновение Ассамблея, взволнованная, возмущенная, но очень умело направленная роялистами против республиканской петиции, которую предвидели и опасались, объявила: «Те, кто в индивидуальных или коллективных *письмах* побуждают народ к сопротивлению, являются преступниками, нанесшими ущерб нации». Таким образом, петиция была отождествлена с утренним убийством, а любое собрание было объявлено собранием убийц. Президент Шарль де Ламет писал муниципалитету, чтобы тот вывесил красный флаг и направил национальную гвардию против петиционеров на Марсовом поле.

На самом деле собрание было совершенно безобидным. По словам очевидца, на нем было даже больше женщин, чем мужчин. Среди подписей можно увидеть очень много подписей женщин и девушек. Несомненно, в этот воскресный день они были под руку со своими отцами, братьями или мужьями. Будучи верующими и покорными, они хотели вместе с ними выразить свою поддержку, присоединиться к ним в этом великом акте, значение которого многие из них не понимали до конца. Но они оставались мужественными и верными, и многие из них вскоре заложили свою кровь.

Число подписей должно было быть действительно огромным. Сохранившиеся листы содержат несколько тысяч подписей. Но видно, что многие были утеряны. Последняя подпись имеет номер 50. Это поразительное стремление народа подписать документ, столь враждебный королю и столь суровый по отношению к Ассамблее, должно было напугать последнюю. Без сомнения, ей принесли одну из копий, которые были в обращении, и она с ужасом увидела, что эта суверенная Ассамблея, до сих пор выступавшая судьей и арбитром между королем и народом, теперь перешла в разряд обвиняемых. Поэтому нужно было любой ценой распустить собрание и порвать петицию.

Такова была, безусловно, мысль, я не говорю всей Ассамблеи, которая поддалась влиянию, но мысль лидеров. Они утверждали, что получили информацию о том, что толпа на Марсовом поле хотела пойти на Ассамблею, что, безусловно, не соответствовало действительности и было категорически опровергнуто всеми еще живыми очевидцами, рассказывающими о поведении народа. Не исключено, что среди толпы был какой-то сумасшедший, предложивший эту экспедицию, но никто не имел ни малейшего влияния на толпу. Она стала огромной, смешанной из тысячи разных элементов, тем более трудно поддающейся управлению и тем менее агрессивной. Деревни пригорода, не зная ничего о последних событиях, двинулись в путь, особенно западные пригороды: Вожирар, Исси, Севр, Сен-Клу, Булонь и т. д. Они шли, как на праздник, но, добравшись до Марсового поля, не имели никакого намерения идти дальше; в этот день крайней жары они скорее искали немного тени, чтобы отдохнуть под окружающими деревьями или в центре, под широкой пирамидой алтаря отечества.

Однако около четырех часов в мэрию поступает последнее, громовое сообщение от Ассамблеи; и в то же время из того же источника в Грев распространяется слух среди всех, кто там находился: «Пятьдесят тысяч бандитов расположились на Марсовом поле, они собираются идти на Ассамблею».

Муниципалитет не сопротивлялся больше. Он вывесил красный флаг. Мэр Бэйли, очень бледный, спустился на Грев и пошел во главе колонны национальной гвардии. Лафайет пошел другим путем.

Вот неопубликованный рассказ одного из свидетелей, очень достоверного, который был гвардейцем и пошел на Марсово поле вместе с жителями фаубурга Сен-Антуан.

«Вид, который представляла тогда эта огромная площадь, поразил нас. Мы ожидали увидеть ее заполненной разъяренной толпой, но обнаружили лишь мирных воскресных прогульщиков, собравшихся группами, семьями, в основном женщинами и детьми, среди которых ходили торговцы кокосовыми орехами, пряниками и пирожными из Нантера, которые тогда были в моде как новинка. В этой толпе не было ни одного вооруженного человека, за исключением нескольких гвардейцев в форме и с саблями, но большинство из них сопровождали своих жен и не выглядели ни угрожающими, ни подозрительными. Безопасность была настолько высока, что многие из наших рот сложили свои ружья в стопки, а некоторые из нас, движимые любопытством, дошли до середины Марсового поля. Когда их спросили по возвращении, они сказали, что ничего нового не произошло, кроме того, что на ступенях алтаря Отечества подписывали петицию.

«Этот алтарь был огромным сооружением высотой в сто футов; он опирался на четыре массивных основания, занимавших углы его обширного четырехугольника и поддерживавших треноги колоссальных размеров. Эти основания были соединены между собой лестницами, ширина которых была такова, что по каждой из них мог подняться целый батальон. С платформы, на которую они вели, поднималась пирамидальная лестница с множеством ступеней, увенчанная алтарем Отечества, в тени пальмы.

«Ступени, проложенные с четырех сторон от основания до вершины, служили сиденьями для толпы, уставшей от долгой прогулки и июльской жары. Поэтому, когда мы прибыли, этот великий памятник напоминал оживленную гору, сложенную из людей, стоящих друг на друге. Никто из нас не предполагал, что это сооружение, воздвигнутое для праздника, превратится в кровавый эшафот».

Ни Бэйли, ни Лафайет не были кровожадными людьми. Они дали лишь общий приказ применять силу *в случае сопротивления*. События пошли своим чередом: оплачиваемая национальная гвардия (своего рода жандармерия) входила в центр Марсового поля (со стороны Гро-Кайю), когда ей *сообщили*, что на другом конце поля был застрелен мэр. И действительно, из группы возбужденных детей и мужчин прозвучал выстрел, который ранил драгуна, стоящего за мэром.

Так говорят, но кто это «*говорят*»? Несомненно, роялисты, возможно, парикмахеры, которые пришли в большом количестве, вооруженные до зубов, чтобы отомстить за убитого утром парикмахера.

Оплачиваемая гвардия не стала ничего ждать и, не проверяя эти *слухи*, бросилась бежать на Марсово поле и выпустила весь свой боезапас по алтарю Отечества, покрытому женщинами и детьми. Роберт и его жена не пострадали. Именно они или их друзья, кордельеры, под обстрелом собрали разбросанные листы петиции, часть которой мы сохранили до сих пор.

Вечером они укрылись в доме мадам Ролан. Стоит прочитать ее рассказ, который своей горечью лишь подтверждает чрезмерную робость гирондинской политики: «Вернувшись из якобинского клуба домой в одиннадцать часов вечера, я застала там господина и госпожу Робер. «Мы пришли, — сказала мне женщина с уверенностью старой подруги, — просить у вас убежища; нужно было не очень хорошо вас знать, чтобы не поверить в искренность вашего характера и вашего патриотизма. Мой муж составлял петицию на алтаре Родины; я была рядом с ним; мы избежали резни, не осмелившись уйти ни домой, ни к знакомым друзьям, где нас могли бы найти.—Я благодарна вам, — ответила я, — что вы подумали обо мне в столь печальных обстоятельствах, и для меня честь принять преследуемых; но здесь вы будете плохо спрятаны (я находилась в отеле Britannique на улице Guénégaud); этот дом часто посещают, и хозяин является ярым сторонником Лафайета.—Речь идет только об этой ночи;

завтра мы решим, куда нам уйти». Я велела сказать хозяйке гостиницы, что одна из моих родственниц, прибывшая в Париж в это бурное время, оставила свой багаж в дилижансе и проведет ночь со мной; я просила ее поставить две раскладушки в моей комнате. Их поставили в гостиной, где находились мужчины, а мадам Роберт спала в кровати моего мужа, рядом с моей, в моей комнате. На следующее утро я встала довольно рано и первым делом написала письма, чтобы рассказать своим друзьям, находящимся вдали, о том, что произошло накануне. Господин и госпожа Робер, которые, как я полагала, должны были быть очень активными и иметь обширную переписку, как журналисты, не спеша оделись, пообедали, который я им подавала, и вышли на балкон, выходящий на улицу; они даже позвала из окна и пригласили к себе прохожего, которого знали.

Я считал такое поведение весьма несообразным со стороны людей, которые скрывались. Человек, которого они пригласили, горячо рассказывал им о событиях предыдущего дня, хвастался тем, что пронзил саблей тело национального гвардейца; он говорил очень громко, находясь в соседней комнате большой прихожей, общей с другой квартирой, соседствующей с моей. Я позвал мадам Роберт: «Я принял вас, мадам, из соображений справедливости и гуманности по отношению к честным людям, находящимся в опасности, но я не могу давать убежище всем вашим знакомым: вы рискуете, принимая в таком доме, как этот, человека, столь нескромного; я обычно принимаю депутатов, которые могут быть скомпрометированы, если их увидят входящими сюда в тот момент, когда здесь находится человек, который хвастается тем, что вчера совершил нападение; прошу вас предложить ему удалиться». Мадам Роберт позвала своего мужа, я повторил свои замечания более громким голосом, потому что этот человек, более тупой, как мне казалось, нуждался в сильном впечатлении; мужчину прогнали. Я узнал, что его звали Вашар, что он был президентом общества под названием «Неимущие»: все хвалили его за его прекрасные качества и горячий патриотизм. Я про себя вздохнул, думая о том, какую ценность следует придавать патриотизму человека, у которого была вся шея того, что называется «плохой головой», и которого я бы принял за плохого человека. Позже я узнал, что он был разносчиком газеты Марата, не умел читать и сегодня является администратором департамента Парижа, где он очень хорошо ладит со своими собратьями.

Был полдень; господин и госпожа Роберт сказали, что пойдут домой, где, наверное, все в беспорядке. Я предложил им, чтобы они, прежде чем уйти, пообедали у меня, и я приготовлю им обед пораньше. Они ответили, что предпочитают вернуться домой, и так и сделали, уходя. Я действительно увидел их снова перед тремя часами; они привели себя в порядок; жена была с большими перьями и много румян; муж надел шелковый костюм небесно-голубого цвета, на котором его черные волосы, ниспадающие крупными локонами, выделялись необычайно. Длинный меч у его пояса добавлял его костюму все, что могло привлечь к нему внимание. Но, черт возьми, эти люди с ума сошли? — спросил я себя. И я смотрел, как они разговаривают, чтобы убедиться, что они не сошли с ума. Толстый Роберт прекрасно ел, а его жена болтала в свое удовольствие. Наконец они ушли, и я больше их не видел и никому о них не рассказывал.

«Вернувшись в Париж следующей зимой, Роберт встретил Роланда в якобинском клубе и сделал ему честные упреки или вежливые жалобы на то, что тот больше не поддерживал с нами никаких отношений; его жена приходила ко мне несколько раз и настойчиво приглашала меня на два дня в неделю в ее дом, где она устраивала собрания, на которые приходили заслуженные люди из законодательного собрания: я пошел туда один раз; я увидел Антуана, о всей посредственности которого я знал, маленького человека, подходящего для туалета, сочиняющего красивые стихи, приятно пишущего о пустяках, но

без содержания и характера. Я увидел патриотических депутатов, таких же приличных, как Шабо; несколько женщин, горячих в своем гражданском патриотизме, и почтенных членов Братского общества завершали состав кружка, который мне не очень подходил, и в который я больше не возвращался. Через несколько месяцев Ролан был призван в министерство; прошло всего двадцать четыре часа с момента его назначения, как ко мне домой пришла мадам Роберт: «Ах, вот и ваш муж занял должность; патриоты должны помогать друг другу, надеюсь, вы не забудете о моем. — Мадам, я буду рада быть вам полезной; но я не знаю, что я могу для этого сделать, и, конечно, господин Роланд не упустит ничего, что может послужить общественному интересу, нанимая способных людей». Прошло четыре дня; мадам Роберт снова пришла ко мне с утренним визитом; еще один визит через несколько дней, и все с тем же настойчивым требованием о необходимости найти работу для ее мужа, о его праве на это благодаря его патриотизму. Я сообщил мадам Роберт, что министр внутренних дел не имеет никаких вакансий, кроме тех, что есть в его ведомстве; что все они заняты; что, несмотря на то, что было бы полезно сменить некоторых сотрудников, благоразумному человеку следует изучить ситуацию и людей, прежде чем проводить кадровые перестановки, чтобы не помешать ходу дел; и что, наконец, судя по тому, что она сама мне сказала, ее муж, несомненно, не захочет занимать должность клерка. «Действительно, Роберт достоин большего. — В таком случае министр внутренних дел не может вам ничем помочь. — Но он должен поговорить с министром иностранных дел и добиться для Роберта какой-нибудь миссии.—Я полагаю, что господин Ролан придерживается строгой политики не обращаться ни к кому с просьбами и не вмешиваться в дела своих коллег; но, поскольку вы, вероятно, хотите лишь засвидетельствовать гражданскую позицию вашего мужа, я скажу об этом своему».

«Мадам Роберт взялась за дело, обратившись к Дюмуре и Бриссо, и через три недели вернулась, чтобы сказать мне, что получила обещание от первого и просила меня напомнить ему о его обещании, когда я увижу его.

Он пришел ко мне на обед в течение недели; там были Бриссо и другие: «Разве вы не обещали одной даме, которая очень настаивала, немедленно устроить ее мужа? Она просила меня напомнить вам об этом; она так активна, что я рада, что могу успокоить ее, сказав, что я сделала то, чего она желала. — Речь идет о Роберте? — сразу спросил Бриссо. — Именно.—Ах! — ответил он с присущей ему добродушием, — вы должны (обращаясь к Дюмуре) устроить этого человека: он искренний друг Революции, горячий патриот; он несчастлив; царство свободы должно быть полезно тем, кто ее любит.—Что? — прервал его Дюмуре с такой же живостью, как и весельем, — вы говорите мне об этом маленьком человечке с черной головой, такой же широкой, как и высокой! Но, клянусь, я не хочу позорить себя. Я никуда не пошлю такую башку.—Но, — ответил Бриссо, — среди агентов, которых вы можете нанять, не все нуждаются в одинаковых способностях. — Эй, вы хорошо знаете Робера? — спросил Дюмуре.—Я хорошо знаю Керальо, отца его жены; это чрезвычайно уважаемый человек: я видел у него Роберта; я знаю, что ему вменяют некоторые недостатки, но я считаю его честным, с отличным сердцем, проникнутым истинным гражданским духом и нуждающимся в работе. —Я не нанимаю таких сумасшедших.—Но вы обещали его жене. —Конечно, место с зарплатой на тысячу эку, которое он не захотел. Знаете, что он просит у меня? Посольство в Константинополе! — Посольство в Константинополе! — воскликнул Бриссо, смеясь. — Это невозможно. —Так и есть. — Мне больше нечего сказать.—И я тоже, — добавил Дюмуре, — разве что я выкачу этот бочонок на улицу, если он снова появится у меня, и запрещу его жене появляться у моей двери».

«Мадам Роберт снова пришла ко мне; я хотел избавиться от нее, но без скандала, и мог поступить только в соответствии со своей честностью. Она много жаловалась на Дюмурье, на его медлительность; я сказал ей, что я говорил с ним, но что я не должен скрывать от нее, что у нее есть враги, которые распространяют о ней ложные слухи; что я призываю ее докопаться до источника этих слухов, чтобы уничтожить их, чтобы общественный деятель не подвергался упрекам злоумышленников, нанимая человека, окруженного неблагоприятными предрассудками; что ей нужно только дать объяснения, которые я предлагаю ей дать. Мадам Роберт пошла к Бриссо, который в своей наивности сказал ей, что она поступила глупо, попросив посольство, и что с такими претензиями в конце концов ничего не получишь. Мы больше ее не видели, но ее муж написал брошюру против Бриссо, в которой обвинил его в распределении должностей и в том, что он был мошенником, который обещал ему посольство в Константинополе, а потом отказался от своего слова. Он примкнул к кордельерам, подружился с Дантоном, предложил свои услуги в качестве его помощника, когда 10 августа Дантон стал министром, был им продвинут в избирательный корпус и в депутацию Парижа в Конвент; заплатил его долги, понес расходы, принимал у себя дома, кормил Орлеана и тысячу других; сегодня он богат; клеветает на Ролана и разрывает его жену: все это понятно; он делает свою работу и зарабатывает деньги».

Этот горький, несправедливый портрет, доказывающий, что мадам Ролан, что даже величайшие личности имеют свои несчастья и слабости, является материально неточным в более чем одном отношении, в одном — совершенно точно. Роберт *не бросился в Кордельеры* в 92 году, поскольку он принадлежал к ним с начала 91 года, а в июле 91 года он вместе со своей женой совершил самый смелый поступок, который запечатлел Кордельеры в истории, — акт создания Республики.

Роберт был хорошим человеком с теплым сердцем. По-видимому, он был одним из тех, кто летом 93 года (в августе или сентябре) вместе с Гаратом предпринял несколько попыток убедить Робеспьера спасти жирондистов, которые к тому времени были безнадежно потеряны и которых никто не мог спасти.

Незначительный случай оказался для него роковым. Конвент принял очень строгий закон против спекулянтов. Роберта обвинили в том, что у него дома была бочка рома. Он тщетно протестовал, что эта крошечная бочка была предназначена для его личного потребления. Но это не помешало якобинцам продолжать клеветать на *Роберта-спекулянта*, поскольку они были полны желания окончательно потопить старых кордельеров.

Что бы ни говорила мадам Ролан, ни Роберт, ни его жена не разбогатели. Бедная женщина после революции, как и раньше, жила своим пером, писала для книготорговцев множество переводов с английского и время от времени романы: «*Амелия и Каролина, или Любовь и дружба*»; «*Альфонс и Матильда, или Испанская семья*»; «*Роза и Альберт, или Могила Эммы*» (1810). Это была последняя из ее работ и, вероятно, конец ее жизни.

Все это забыто, даже ее «*История Елизаветы*». Но то, что не будет забыто, — это великая инициатива, которую она предприняла для Республики 17 июля 1791 года.

XVIII

ШАРЛОТТА КОРДЕЙ.

В воскресенье, 7 июля, прошла генеральная репетиция, и на огромном зеленом ковре луга Кана собрались добровольцы, отправлявшиеся в Париж *на войну Марата*. Пришло тридцать человек. Красивые дамы, которые находились там вместе с депутатами, были удивлены и разочарованы таким небольшим количеством. Одна из девушек, в частности, выглядела глубоко опечаленной: это была мадемуазель Мари-Шарлотта Корде из Армона, молодая и красивая, республиканка, из знатной, но бедной семьи, которая жила в Кане со своей тетей. Петион, который видел ее несколько раз, предположил, что у нее, несомненно, был какой-то возлюбленный, чей отъезд опечалил ее. Он грубо пошутил над ней, сказав: «Вы бы очень огорчились, если бы они не уехали, не так ли?»

Гирондин, утомленный столькими событиями, не мог понять новых, нетронутых чувств, горячего пламени, которое охватило это молодое сердце. Он не знал, что его речи и речи его друзей, которые в устах опытных мужчин были всего лишь речами, в сердце мадемуазель Корде были судьбой, жизнью, смертью. На этой лужайке в Кане, которая могла вместить сто тысяч человек, а вмещала только тридцать, она увидела то, чего никто не видел: *покинутую Родину*.

Мужчины делали так мало, что она пришла к мысли, что нужна рука женщины.

Мадемуазель Корде была очень благородной; она была ближайшей родственницей героинь Корнеля, Химены, Полины и сестры Горация. Она была правнучкой автора «*Цинны*». Восхитительным в ней была ее натура.

В своем последнем предсмертном письме она достаточно ясно дает понять все, что было у нее на уме: она говорит все одним словом, которое повторяет без устали: «*Мир, мир!*»

Возвышенная и рассудительная, как ее дядя, по-нормандски, она рассуждает так: Закон — это сам мир. Кто убил Закон 2 июня? Прежде всего Марат. Убийца Закона убит, мир вновь расцветет. Смерть одного будет жизнью для всех.

Такова была вся ее мысль. О своей жизни, которую она отдавала, она не думала.

Мысль узкая, но высокая. Она видела все в одном человеке; в нити жизни она верила, что перережет нить нашей злой судьбы, четко, просто, как она, трудолюбивая девушка, перерезала нить на веретене. Не стоит думать, что мадемуазель Корде была свирепой мегерой, для которой кровь не значила ничего. Напротив, именно чтобы спасти его, она решилась на этот удар. Она верила, что спасет весь мир, уничтожив уничтожителя. У нее было женское сердце, нежное и мягкое. Действие, которое она на себя взяла, было актом милосердия.

На единственном сохранившемся портрете, написанном в момент ее смерти, чувствуется ее чрезвычайная мягкость. Ничто не может быть дальше от кровавого воспоминания, которое вызывает ее имя. Это лицо молодой нормандской девушки, девственное, как и должно быть, с нежным сиянием цветущего яблоневого дерева. Она выглядит гораздо моложе своих двадцати пяти лет. Кажется, слышен ее немного детский голос, те самые слова, которые она написала своему отцу, с орфографией, отражающей протяжную норманнскую произношение: «Прости меня, папа...»

На этом трагическом портрете она выглядит бесконечно разумной, здравомыслящей, серьезной, как и все женщины ее края. Относится ли она легкомысленно к своей судьбе? Вовсе нет, в этом нет никакого ложного героизма. Надо помнить, что она была в получасе от страшного испытания. Не похожа ли она немного на угрюмого ребенка? Я бы сказал, что да; присмотревшись, можно заметить легкое движение ее губ, едва заметную гримасу... Что же! Так мало раздражения против смерти!... Против варварского врага, который собирается положить конец этой очаровательной жизни, стольким возможным любовям и романам. Мы потрясены, видя ее такой кроткой; сердце замирает, глаза темнеют; приходится смотреть в другую сторону.

Художник создал для людей отчаяние, вечное сожаление. Никто не может увидеть ее, не сказав в своем сердце: «О, почему я родился так поздно!... О, как я бы ее любил!»

У нее пепельные волосы с нежнейшим оттенком: белая шапочка и белое платье. Является ли это знаком ее невинности и видимым оправданием? Я не знаю. В ее глазах есть сомнение и печаль. Печаль о своей судьбе, я не думаю; но о своем поступке, возможно... Даже самый решительный человек, который наносит такой удар, независимо от своей веры, часто в последний момент испытывает странные сомнения.

Вглядываясь в ее грустные и мягкие глаза, можно почувствовать еще одну вещь, которая, возможно, объясняет всю ее судьбу: *она всегда была одинока.*

Да, это единственное, что вызывает беспокойство в ней. В этом очаровательном и добром существе таилась зловещая сила, *демон одиночества*. Во-первых, у нее не было матери. Ее мать умерла рано; она не знала материнской ласки; в первые годы жизни она не получала того нежного материнского молока, которое ничем не заменить.

По правде говоря, у нее не было и отца. Ее отец, бедный сельский дворянин, утопист и романтик, писавший против злоупотреблений, которыми жила знать, много занимался своими книгами и мало своими детьми.

Можно даже сказать, что у нее не было братьев. По крайней мере, те двое, которые у нее были, в 92 году настолько отличались от мнения своей сестры, что пошли в армию Конде.

Принятая в тринадцать лет в монастырь Аббатство-о-Дам в Кане, где принимали дочерей бедной знати, разве она не была там снова одна? Можно в это поверить, зная, как в этих религиозных убежищах, которые должны были бы быть святилищами христианского равенства, богатые презируют бедных. Ни одно место, кроме Аббатства Дам, не кажется более подходящим для сохранения традиций гордости. Основанное Матильдой, женой Вильгельма Завоевателя, оно возвышается над городом, и в его высоких и еще более высоких романских сводах до сих пор запечатлена феодальная надменность.

Душа молодой Шарлотты нашла свое первое убежище в набожности, в нежной дружбе монастыря. Она особенно любила двух девушек, благородных и бедных, как и она сама. Она также заглянула в мир. Очень светское общество молодых аристократов допускалось в приемную монастыря и в салоны аббатисы. Их пустота, должно быть, способствовала укреплению мужественного сердца девушки в ее отчуждении от мира и любви к одиночеству.

Ее настоящими друзьями были книги. Философия века проникла в монастыри. Случайные и малоотборные чтения, Рейналь вперемешку с Руссо. «Ее голова, как сказал один журналист, была полна всевозможных чтений».

Она была из тех, кто может безнаказанно перебирать книги и мнения, не теряя при этом своей чистоты. В познании добра и зла она сохранила уникальный дар моральной девственности и детской невинности. Это проявлялось прежде всего в интонациях почти детского голоса с серебристым тембром, в котором прекрасно чувствовалось, что человек целостен, что ничто еще не сломало его. Можно было забыть черты лица мадемуазель Корде, но ее голос — никогда. Человек, который однажды услышал его в Кане, в незначительной ситуации, десять лет спустя все еще помнил этот уникальный голос и мог бы его опознать.

Это продление детства было особенностью Жанны д'Арк, которая осталась маленькой девочкой и никогда не стала женщиной.

Более всего мадемуазель Корде была поразительна и незабываема тем, что этот детский голос сочетался с серьезной красотой, мужественной по выражению, хотя и нежной по чертам. Этот контраст имел двойной эффект: он очаровывал и внушал уважение. Люди смотрели, подходили, но в этом расцвете юности было что-то устрашающее, что не имело ничего общего с временем, а было связано с бессмертием. Она шла к этому и хотела этого. Она уже жила среди героев в Элиее Плутарха, среди тех, кто отдал свою жизнь, чтобы жить вечно.

Жирондинцы не имели на нее никакого влияния. Большинство из них, как мы видели, перестали быть самими собой. Она дважды встречалась с Барбару ([15]) в качестве депутата от Прованса, чтобы получить от него письмо и попросить о помощи для одной из своих подруг из провансальской семьи.

Она также видела Фоше, епископа Калвадоса; она не любила его, не уважала как священника и как безнравственного человека. Излишне говорить, что мадемуазель Корде не общалась ни с одним священником и никогда не исповедовалась.

После упразднения монастырей, когда ее отец женился во второй раз, она уехала в Каен, к своей пожилой тете, мадам де Бретевилю. И именно там она приняла решение.

Приняла ли она его без колебаний? Нет, ее на мгновение остановила мысль о тете, этой доброй старой даме, которая ее приютила, и которую она в награду за это жестоко подвергнет опасности... Однажды тетя заметила слезу в ее глазах: «Я плачу, — сказала она, — о Франции, о своих родителях и о вас... Пока Марат жив, кто может быть уверен в своей жизни?»

Она раздала свои книги, за исключением одного тома Плутарха, который взяла с собой. Во дворе она встретила ребенка рабочего, который жил в этом доме; она подарила ему свой альбом для рисования, поцеловала его и снова проронила слезу на его щеку... Две слезы! Достаточно для природы.

Шарлотта Корде не могла покинуть этот мир, не попрощавшись с отцом. Она встретила с ним в Аржантане и получила его благословение. Оттуда она отправилась в Париж на общественном экипаже в компании нескольких монтаньяров, больших поклонников Марата, которые сначала влюбились в нее и попросили ее руки. Она притворялась спящей, улыбалась и играла с ребенком.

Она прибыла в Париж в четверг, 11-го числа, около полудня и остановилась на улице Вьё-Огюстен, № 17, в отеле «Провиденс». В пять часов вечера она легла спать и, уставшая, проспала до следующего дня крепким юным сном и с чистой совестью. Ее жертва была принесена, ее поступок был совершен в мыслях; она не испытывала ни беспокойства, ни сомнений.

Она была настолько тверда в своем решении, что не чувствовала необходимости торопиться с его осуществлением. Она спокойно занялась выполнением обязанности дружбы, которая была предлогом для ее поездки в Париж. В Кане она получила письмо от Барбару для своего коллеги Дюпере, желая, как она говорила, с его помощью получить из министерства внутренних дел документы, полезные для ее подруги, эмигрантки мадемуазель Форбен.

Утром она не застала Дюпере, который был в Конвенте. Она вернулась домой и провела день, спокойно читая «Жизни» Плутарха, библию сильных. Вечером она вернулась к депутату и застала его за столом с семьей и обеспокоенными дочерьми. Он любезно пообещал отвезти ее на следующий день. Она взволновалась, увидев эту семью, которую она собиралась подвергнуть опасности, и почти умоляющим голосом сказала Дюпере: «Поверьте мне, уезжайте в Каен, убегайте до завтрашнего вечера». В ту же ночь, и, возможно, пока Шарлотта говорила, Дюпере уже был изгнан или, по крайней мере, был близок к этому. Тем не менее он сдержал свое слово, на следующее утро отвез ее к министру, который не принимал посетителей, и наконец дал ей понять, что, будучи обоими подозреваемыми, они вряд ли смогут помочь эмигрировавшей девушке.

Она вернулась домой только для того, чтобы отправить Дюпере, который сопровождал ее, немедленно ушел и попросила показать ей дорогу к Пале-Рояль. В этом залитом солнцем саду, оживленном веселой толпой и играющими детьми, она нашла ножовщика и купила за сорок су нож с рукояткой из черного дерева, который спрятала под платком.

Теперь у нее было оружие; как она его использует? Она хотела придать торжественность исполнению приговора, который она вынесла Марату. Ее первая идея, которая пришла ей в голову в Кане, которую она вынашивала и привезла с собой в Париж, была впечатляющей и драматичной. Она хотела убить его на Марсовом поле, перед народом, перед небом, в торжественный день 14 июля, наказать в годовщину поражения монархии этого короля анархии. Как настоящая племянница Корнеля, она буквально воплотила бы в жизнь знаменитые строки из трагедии «Цинна»:

Завтра на Капитолии он приносит жертву...

Пусть он станет жертвой, и давайте молчим в этих местах

Справедливость всему миру, перед лицом богов.

Праздник был отложен, и она приняла другое решение: наказать Марата на месте его преступления, там, где, разрушив представительство народа, он диктовал голосование Конвента, назначая одних на жизнь, а других на смерть. Она хотела поразить его на вершине Горы. Но Марат был болен и больше не ходил в Ассамблею.

Поэтому нужно было пойти к нему домой, найти его в его жилище, проникнуть туда, минуя бдительную охрану окружающих его людей; нужно было, что было очень тяжело, вступить с ним в контакт, обмануть его. Это было единственное, что стоило ей больших усилий, что оставило в ее душе угрызения совести и раскаяние.

Первая записка, которую она написала Марату, осталась без ответа. Тогда она написала вторую, в которой прослеживается некое нетерпение, рост страсти. Она доходит до того, что говорит, «что раскроет ему секреты, что ее преследуют, что она несчастна...», не боясь злоупотребить состраданием, чтобы обмануть того, кого она обрекала на смерть как безжалостного врага человечества.

Однако ей не пришлось совершать эту ошибку: она не передала записку.

Вечером 13 июля, в семь часов, она вышла из дома, села в общественный экипаж на площади Победы, пересекла Новый мост и вышла у дома Марата, на улице Корделье, № 20 (сегодня улица Медицинской школы, № 18). Это большой и мрачный дом перед башней, который стоит на углу улицы.

Марат жил на самом темном этаже этого мрачного дома, на первом этаже, что было удобно для журналиста и народного трибуна, чей дом был столь же публичным, как и улица, из-за наплыва носильщиков, расклейщиков, приносящих и уносящих пробные оттиски, и всего этого мира, приходящего и уходящего. Интерьер и обстановка представляли собой странный контраст, верное отражение диссонансов, которые характеризовали Марата и его судьбу. Очень темные комнаты, выходящие во двор, обставленные старой мебелью, грязными столами, на которых складывали газеты, создавали впечатление унылого жилища рабочего. Если пройти дальше, то с удивлением обнаруживаешь небольшую гостиную, выходящую на улицу, обставленную мебелью из сине-белого дамаста, нежных и изящных цветов, с красивыми шелковыми занавесками и фарфоровыми вазами, обычно наполненными цветами. Это было явно жилище женщины, доброй, внимательной и нежной женщины, которая заботливо создавала для человека, посвятившего себя этой смертельной работе, место отдыха. В этом заключалась тайна жизни Марата, которая позже была раскрыта его сестрой: он не был у себя дома, у *него* не было *дома* в этом мире. «Марат не покрывал своих расходов (это говорит его сестра Альбертина); одна божественная женщина, тронутая его положением, когда он бегал из подвала в подвал, взяла и спрятала у себя Друга народа, посвятила ему свое состояние, пожертвовала своим покоем».

В бумагах Марата нашли обещание жениться на Катрин Эварар. Он уже женился на ней *перед солнцем, перед природой*.

Эта несчастная и преждевременно состарившаяся женщина была измучена беспокойством. Она чувствовала смерть вокруг Марата; она сторожила двери, останавливала на пороге любого подозрительного человека.

Лицо мадемуазель Корде было далеко от подозрительного; ее скромная одежда провинциальной девушки располагала к ней. В то время, когда все было крайне, когда одежда женщин была либо небрежной, либо циничной, девушка казалась представительницей старой доброй норманнской закалки, не злоупотребляющей своей красотой, удерживающей своими зелеными лентами свои великолепные волосы под знакомой женщинам Калвадоса шапочкой, скромной прической, менее торжественной, чем у дам из Ко. Вопреки обычаям того времени, несмотря на июльскую жару, ее грудь была строго прикрыта шелковым платком, который надежно завязывался за спиной. На ней было белое платье, без всякой роскоши, кроме той, которая приличает женщине, кружева чепчика развевались вокруг ее щек. В остальном, никакой бледности, розовые щеки, уверенный голос, никаких признаков волнения.

Она твердой походкой пересекла первый барьер, не останавливаясь на просьбу швейцара, который тщетно звал ее обратно. Она подверглась не слишком доброжелательному осмотру со стороны Катрин, которая, услышав шум, приоткрыла дверь и хотела помешать ей войти. Эту перепалку услышал Марат, и звуки этого вибрирующего, серебристого голоса донеслись до него. Он не испытывал отвращения к женщинам и, хотя был в ванне, приказал впустить ее.

Комната была маленькая, темная. Марат, сидя в ванне, укрытый грязным простынем и доской, на которой он писал, высунул только голову, плечи и правую руку. Его жирные волосы, обернутые платком или полотенцем, желтая кожа и тонкие конечности, большой рот, похожий на рот лягушки, не очень напоминали о том, что это существо было мужчиной.

Кстати, девушка, как можно себе представить, не обращала на это внимания. Она обещала новости из Нормандии; он спросил о них, особенно о именах депутатов, укрывшихся в Кане; она назвала их, и он записывал. Затем, закончив, он сказал: «Хорошо! Через неделю они пойдут на гильотину».

Шарлотта, найдя в этих словах дополнительную силу, повод для удара, вытащила из-под платья нож и вонзила его по самую рукоятку в сердце Марата. Удар, нанесенный сверху и с необычайной уверенностью, прошел рядом с ключицей, пронзил легкое, разорвал сонные артерии и вызвал поток крови.

«Ко мне, моя дорогая подруга!» — это все, что он смог сказать, и он испустил дух.

XIX

СМЕРТЬ ШАРЛОТТЫ КОРДЕЙ (19 ИЮЛЯ 93 ГОДА).

Женщина входит, посыльный... Они находят Шарлотту, стоящую как окаменевшую у окна... Мужчина бросает ей в голову стул, закрывает дверь, чтобы она не вышла. Но она не шевелится. На крики прибегают соседи, жители квартала, все прохожие. Вызывают хирурга, который обнаруживает только труп. Однако национальная гвардия не дала разорвать Шарлотту на куски; они держали ее за обе руки. Она и не думала ими пользоваться. Неподвижная, она смотрела тусклым и холодным взглядом. Парикмахер из квартала, который взял нож, размахивал им и кричал. Она не обращала на это внимания. Единственное, что, казалось, удивляло ее и (как она сама сказала) причиняло ей боль, были крики Катрин Марат. Они впервые заставили ее осознать, что «в конце концов Марат был мужчиной». Она, казалось, говорила себе: «Что же! Он был любим!»

Вскоре, в семь часов тридцать минут, прибыл комиссар полиции, затем администраторы полиции Луве и Марино, и, наконец, депутаты Море, Шабо, Друэ и Лежандр, прибежавшие из Конвента, чтобы увидеть *чудовище*. Они были очень удивлены, увидев среди солдат, державших ее за руки, красивую молодую девушку, очень спокойную, отвечавшую на все вопросы твердо и просто, без застенчивости и пафоса; она даже призналась, *что сбежала бы, если бы могла*. Таковы противоречия природы. В обращении к французам, которое она написала заранее и которое было при ней, она говорила, что *хотела погибнуть*, чтобы ее голова, принесенная в Париж, послужила знаком для друзей законов.

Еще одно противоречие. Она говорила и писала, что надеется умереть *неизвестной*. И все же у нее нашли свидетельство о крещении и паспорт, которые должны были помочь ее опознать.

Другие предметы, найденные при ней, ясно свидетельствовали о ее душевном спокойствии; это были вещи, которые берет с собой аккуратная женщина, привыкшая к порядку. Помимо ключа, часов и денег, у нее были иголка и нитка, чтобы в тюрьме починить одежду, которая, скорее всего, была испорчена в результате насильственного ареста.

Путь до Аббатства был недлинным, всего две минуты. Но он был опасен. Улица была полна друзей Марата, разъяренных кордельеров, которые плакали и кричали, требуя выдать им убийцу. Шарлотта заранее предусмотрела и приняла все виды смерти, кроме того, чтобы ее разорвали на части. Говорят, она на мгновение ослабела, почувствовала, что теряет сознание. Они добрались до Аббатства.

Когда ее снова допрашивали ночью члены Комитета общественной безопасности и другие депутаты, она проявила не только твердость, но и веселость. Лежандр, полный важности и наивно считающий себя достойным мученичества, сказал ей: «Разве не вы пришли вчера ко мне в монашеском одеянии?» — «Гражданин ошибается, — ответила она с улыбкой. — Я не считала, что его жизнь или смерть имеют значение для спасения Республики».

Шабо все еще держал ее часы и не отпускал их... «Я думала, — сказала она, — что капуцины дают обет бедности».

К большому огорчению Шабо и тех, кто ее допрашивал, ни на ней, ни в ее ответах не было найдено ничего, что могло бы дать повод полагать, что она была послана жирондистами из Кана. Во время ночного допроса этот наглый Шабо утверждал, что у нее еще есть спрятанная бумага, и, подло воспользовавшись тем, что ее руки были связаны, он положил на нее руку; он, без сомнения, нашел бы то, чего там не было, — манифест Жиронды. Несмотря на то, что она была связана, она резко оттолкнула его; она откинулась назад с такой силой, что веревки порвались, и на мгновение можно было увидеть ее целомудренную и героическую грудь. Все были тронуты. Ее развязали, чтобы она могла привести себя в порядок. Ей также разрешили закатать рукава и надеть перчатки под цепями.

Переведенная утром 16-го из аббатства в Консьержери, она вечером написала длинное письмо Барбару, письмо, очевидно рассчитанное на то, чтобы своим весельем (которое печалит и причиняет боль) показать совершенное спокойствие души. В этом письме, которое не могло не быть прочитано и распространено по Парижу на следующий день, и которое, несмотря на его фамильярную форму, было похоже на манифест, она заставляет поверить, что добровольцы из Кана были горячими и многочисленными. Она еще не знала о поражении Вернона.

То, что, по-видимому, указывает на то, что она была менее спокойна, чем казалась, — это то, что она четыре раза возвращается к тому, что мотивирует и оправдывает ее поступок: мир, желание мира. Письмо датировано: «Второй день подготовки к миру». И в середине она пишет: «Да установится мир так скоро, как я того желаю! Я наслаждаюсь миром уже два дня. Счастье моей страны — мое счастье».

Она написала отцу, прося прощения за то, что распорядилась своей жизнью, и процитировала ему следующие строки:

Позор приносит преступление, а не эшафот.

Она также написала молодому депутату, племяннику аббатисы Кана, Дульсету де Понтекуланту, осторожному жирондисту, который, по словам Шарлотты Корде, заседал в «Горной фракции». Она считала его своим защитником. Дульсет не ночевал дома, и письмо его не нашло.

Если верить ценной заметке, переданной семьей художника, который нарисовал ее в тюрьме, она специально заказала чепец для своего суда. Это объясняет, почему она потратила тридцать шесть франков за столь короткий срок заключения.

Какова была система обвинения? Парижские власти в своей прокламации приписывали преступление *федералистам* и одновременно заявляли: «Эта фурия вышла из дома бывшего графа Дорсета». Фукье-Тенвиль писал в Комитет безопасности: «Ему только что сообщили,

что она была подругой Бельзунса, что она хотела отомстить за Бельзунса и его родственника Бирона, недавно осужденного Маратом, что Барбару подтолкнул ее» и т. д. Абсурдный роман, о котором он не осмелился даже упомянуть в своей речи.

Публика не заблуждалась. Все поняли, что она была одна, что ее советом были только ее мужество, ее преданность, ее фанатизм. Заключенные Аббатства, Консьержерии, даже люди на улицах (за исключением криков в первые минуты) — все смотрели на нее в тишине уважительного восхищения. «Когда она появилась в зале, — говорит ее неофициальный защитник Шово-Лагард, — все, судьи, присяжные и зрители, *казалось, принимали ее за судью, который вызвал их в верховный суд...* Можно было описать ее черты, — продолжает он, — воспроизвести ее слова, но никакое искусство не смогло бы изобразить ее великую душу, полностью отраженную в ее чертах лица... моральный эффект дебатов и тех вещей, которые чувствуются, но которые невозможно выразить».

Затем он исправляет свои ответы, искусно искаженные, искаленные, обесцвеченные в *Moniteur*. Все они отмечены отпечатком реплик, которые можно прочесть в напряженных диалогах Корнеля.

«Кто внушил вам столько ненависти? — Мне не нужна была ненависть других, мне хватало моей собственной».

«Этот поступок должен был быть вам подсказан? — Тот, кто не сам придумал, плохо выполняет».

«Что вы ненавидели в нем? — Его преступления».

«Что вы имеете в виду? — Разрушение Франции».

«Чего вы надеялись добиться, убив его? — Принести мир моей стране».

«Вы думаете, что убили всех Маратов? — Когда этот мертв, другие, возможно, испугаются».

«Когда вы замыслили это? — 31 мая, когда здесь арестовали представителей народа».

Председатель, после показаний, которые его обременяют:

«Что вы на это ответите? — Ничего, кроме того, что я достиг своей цели».

Ее правдивость была опровергнута только в одном пункте. Она утверждала, что на параде в Кане было тридцать тысяч человек. Она хотела напугать Париж.

Несколько ответов показали, что это решительное сердце было вполне естественным. Она не смогла дослушать до конца показания, которые давала женщина Марат сквозь рыдания; она поспешила сказать: «Да, это я его убила».

Она также вздрогнула, когда ей показали нож. Она отвернулась и, отстраняя его рукой, прерывистым голосом сказала: «Да, я его узнаю, я его узнаю...»

Фукье-Тенвиль заметил, что она ударила сверху, чтобы не промахнуться; иначе она могла бы попасть в ребро и не убить; и добавил: «По-видимому, вы заранее хорошо потренировались? — О, это чудовище! — воскликнула она. — Он принимает меня за убийцу!»

Эти слова, по словам Шово-Лагарда, были как гром среди ясного неба. Дебаты были закрыты. Они длились в общей сложности полчаса.

Председатель Монтане хотел спасти ее. Он изменил вопрос, который должен был задать присяжным, ограничившись вопросом: «Сделала ли она это с умыслом?», и опустив вторую половину формулировки: «с преступным и контрреволюционным умыслом?». За что через несколько дней был арестован сам.

Председатель, чтобы спасти ее, присяжные, чтобы унижить ее, хотели, чтобы защитник представил ее как сумасшедшую. Он посмотрел на нее и прочитал в ее глазах; он поступил так, как она хотела, установив *длительный умысел* и то, что она не хотела, чтобы ее защищали. Молодой и потрясенный ее огромным мужеством, он рискнул произнести слова (которые были так близки к эшафоту): «Это спокойствие и самоотречение, *возвышенные* в некотором смысле...»

После вынесения приговора она попросила отвести ее к молодому адвокату и с большой благодарностью сказала ему, что благодарна ему за его деликатную и щедрую защиту и хочет выразить ему свое уважение. «Эти господа только что сообщили мне, что мое имущество конфисковано; я должна что-то тюрьме, поручаю вам погасить мой долг».

Спустившись из зала по темной лестнице, ведущей в подвальные камеры, она улыбнулась своим сокамерникам, которые смотрели ей вслед, и извинилась перед консьержем Ричардом и его женой, с которыми она договорилась пообедать. К ней пришел священник, чтобы предложить свои услуги, но она вежливо отклонила его предложение: «Поблагодарите от моего имени тех, кто вас послал», — сказала она.

Во время слушания она заметила, что один художник пытался запечатлеть ее черты и смотрел на нее с живым интересом. Она повернулась к нему. После вынесения приговора она велела его позвать и уредила ему последние минуты, которые оставались ей до казни. Художник, господин Хауэр, был вторым командиром батальона Кордельеров. Возможно, именно благодаря этому ему оказали любезность и позволили остаться рядом с ней, без других свидетелей, кроме жандарма. Она спокойно беседовала с ним о безразличных вещах, а также о событиях дня, о душевном покое, который она чувствовала в себе. Она попросила г-на Хауэра скопировать портрет в уменьшенном виде и отправить его ее семье.

Через полтора часа кто-то тихонько постучал в маленькую дверь, которая находилась за ее спиной. Дверь открылась, и вошел палач. Шарлотта обернулась и увидела ножницы и красную рубашку, которую он носил. Она не смогла сдержать легкого волнения и невольно сказала: «Что, уже?» Она сразу же оправилась и, обращаясь к господину Хауэру, сказала: «Господин, я не знаю, как поблагодарить вас за вашу заботу; у меня есть только это, чтобы предложить вам, сохраните это в память обо мне». В то же время она взяла ножницы, отрезала красивую прядь своих длинных пепельно-русых волос, выбивавшихся из-под чепца, и передала ее господину Хауэру. Жандармы и палач были очень взволнованы.

В тот момент, когда она поднялась на телегу, когда толпа, одушевленная двумя противоположными фанатизмами — яростью и восхищением, — увидела, как из низкой арки Консьержерии выходит прекрасная и великолепная жертва в красном плаще, природа, казалось, присоединилась к человеческим страстям, и над Парижем разразилась сильная гроза. Она длилась недолго, казалось, улетела прочь, когда она появилась на мосту Неф и медленно прошла по улице Сен-Оноре. Солнце вернулось высоко и ярко; было еще не семь часов вечера (19 июля). Отблески красной ткани странным и фантастическим образом подчеркивали цвет ее кожи и глаз.

Утверждают, что Робеспьер, Дантон, Камиль Демулен встали на ее пути и смотрели на нее. Мирный образ, но от того более ужасный, революционной Немезиды, она тревожила сердца, оставляя их полными изумления.

Серьезные наблюдатели, которые следили за ней до последних мгновений, литераторы, врачи, были поражены редким явлением: самые стойкие осужденные поддерживали друг друга оживлением, то ли патриотическими песнями, то ли грозными призывами, которые они обращали к своим врагам. Она проявляла совершенное спокойствие среди криков толпы, серьезное и простое безмятежное состояние; она прибыла на место с необыкновенным величием и как будто преобразилась в ореоле заката.

Врач, который не спускал с нее глаз, сказал, что она на мгновение побледнела, когда увидела нож. Но цвет лица вернулся, и она твердой походкой поднялась на эшафот. Девушка в ней проявилась в тот момент, когда палач сорвал с нее платок; ее скромность пострадала, и она ускорила шаг, сама идя навстречу смерти.

В тот момент, когда голова упала, плотник-маратист, помогавший палачу, грубо схватил ее и, показывая народу, с недостойной жестокостью ударил ее по лицу. По площади пробежал дрожь ужаса, раздался шепот. Казалось, что голова покраснела. Возможно, это был просто оптический эффект: в глазах возмущенной в этот момент толпы отражались красные лучи солнца, пробивавшиеся сквозь деревья Елисейских полей.

Парижская коммуна и суд удовлетворили общественное мнение, посадив этого человека в тюрьму.

Среди криков маратистов, которых было очень мало, общее впечатление было сильным восхищением и болью. Об этом можно судить по смелости, с которой *Chronique de Paris*, несмотря на жесткие ограничения прессы, напечатала почти без ограничений хвалебную статью о Шарлотте Корде.

Многие люди были потрясены до глубины души и так и не оправились от этого. Мы видели эмоции президента, его попытки спасти ее, эмоции адвоката, застенчивого молодого человека, который в этот раз превзошел самого себя. Не менее сильны были эмоции художника. В этом году он выставил портрет Марата, возможно, чтобы извиниться за то, что нарисовал Шарлотту Корде. Но его имя больше не появляется ни на одной выставке. Кажется, что после этой роковой работы он больше не рисовал.

Эффект этой смерти был ужасающим: она заставила полюбить смерть.

Ее пример, это спокойное бесстрашие очаровательной девушки, имело притягательный эффект. Многие из тех, кто видел ее, с мрачным восторгом следовали за ней, искали ее в неизвестных мирах. Молодой немец Адам Люкс, посланный в Париж с просьбой о присоединении Майнца к Франции, напечатал брошюру, в которой просил умереть, чтобы присоединиться к Шарлотте Корде. Этот несчастный, приехавший сюда с сердцем, полным энтузиазма, веря, что во Французской революции он увидит чистый идеал возрождения человечества, не мог вынести преждевременного затмения этого идеала; он не понимал слишком жестоких испытаний, которые влечет за собой такое рождение. В своих меланхолических мыслях, когда свобода казалась ему утраченной, он видел ее в Шарлотте Корде. Он видел ее в суде, трогательную, восхитительную в своей бесстрашности; он видел ее величественную и королевскую на эшафоте... Она явилась ему дважды... Достаточно! Он выпил смерть.

«Я верил в ее мужество, — говорит он, — но что я почувствовал, когда увидел всю ее нежность среди варварских воплей, этот пронзительный взгляд, эти живые и влажные искры, брызгающие из этих прекрасных глаз, в которых говорила душа, столь же нежная, сколь и бесстрашная! О, бессмертное воспоминание! Нежные и горькие эмоции, которых я никогда не испытывал!... Они поддерживают во мне любовь к этой Родине, за которую она хотела умереть и которой я тоже являюсь сыном по усыновлению. Пусть они теперь удостоят меня своей гильотиной, она теперь для меня не более чем алтарь!»

Чистая и святая душа, мистическое сердце, он обожает Шарлотту Корде, но не обожает убийство.

«Без сомнения, мы имеем право убить узурпатора и тирана, но Марат таковым не был», — говорит он.

Замечательная мягкость души. Она резко контрастирует с жестокостью великого народа, который полюбил убийство. Я говорю о народе Жиронды и даже о роялистах. Их ярость нуждалась в святом и легенде. Шарлотта была совсем другим воспоминанием, совсем другой поэзией, чем Людовик XVI, вульгарный мученик, интересным только своим несчастьем.

В крови Шарлотты Корде основана религия: религия кинжала.

Андре Шенье написал гимн новой божественности:

О, добродетель! Кинжал, единственная надежда земли,
Есть твое священное оружие!

Этот гимн, постоянно переделываемый во все времена и во всех странах, вновь появляется на краю Европы в «Гимне кинжалу» Пушкина.

Старый покровитель героических убийств, Брут, бледное воспоминание далекой древности, теперь превращается в новое, более могущественное и привлекательное божество. Молодой человек, мечтающий о великом деле, будь то Алибо или Санд, о ком он теперь мечтает? Кого он видит в своих снах? Призрак Брута? Нет, очаровательную Шарлотту, такую, какой она была в зловещем великолепии красного плаща, в кровавом ореоле июльского солнца и в багряном вечернем небе.

XX

РОЯЛЬНЫЙ ДВОРЕЦ В 93 ГОДУ. САЛОНЫ. — КАК ВОЗБУДИЛАСЬ ЖИРОНДА.

Слишком сильные эмоции, резкие перепады, падения и рецидивы не только сломали моральный дух, но, по-видимому, у многих людей притупили чувство, которое выживает все остальные — чувство жизни. Можно было бы подумать, что оно очень сильное у тех, кто так слепо бросался в погоню за удовольствиями, но часто было как раз наоборот. Многие, утомленные, разочарованные, не испытывающие интереса к жизни, принимали удовольствие за самоубийство. Это можно было наблюдать с самого начала Революции. По

мере того как политическая партия слабела, заболела, приближалась к смерти, люди, входившие в ее состав, думали только о том, чтобы наслаждаться: это было видно на примере Мирабо, Шапеле, Тальеран, Клермон-Тоннер, для клуба 89-го года, собравшегося у первого ресторатора Пале-Рояля, рядом с играми; блестящая клика превратилась в компанию игроков. Центр Законодательного собрания и Конвента, столько людей, брошенных в пучину судьбы, шли утешаться, забываться в этих домах разврата. Этот Пале-Рояль, такой живой, ослепительный светом, роскошью и золотом, красивыми женщинами, которые подходили к вам, просили вас быть счастливыми, жить, что он был на самом деле, как не дом смерти?

Она была там, во всех своих формах, и самых быстрых. На лестнице — торговцы золотом; в деревянных галереях — девушки. Первые, затаившиеся у винных лавок и маленьких кафе, предлагали вам по дешевке средства, чтобы разориться. Ваш кошелек, немедленно обналиченный, оставлял значительную часть на лестнице, другую часть в кафе, затем на азартных играх на первом этаже, а остаток на втором. В конце концов, вы оставались без гроша, все испарилось.

Это уже не были те первые времена Пале-Рояля, когда его кафе были церквями зарождающейся революции, когда Камиль в кафе Фуа проповедовал крестовый поход. Это уже не был тот век революционной невинности, когда добрый Фоше проповедовал в Цирке доктрину *Друзей* и филантропическое объединение *Круг Истины*. Кафе и рестораны были очень популярны, но мрачны. Такие знаменитые заведения становились местами траура. Ресторатор Февраль видел, как у него дома убили Сен-Фаржо. Неподалеку, в кафе Корраза, была задумана смерть Жиронды.

Жизнь, смерть, быстрое, грубое, жестокое удовольствие, уничтожающее удовольствие — вот что было в Пале-Рояле в 93-м году.

Нужны были азартные игры, в которых можно было бы на одной карте проиграть все и сразу, одним махом потерять все.

Нужны были девушки; но не те хилые, которых мы видим на улицах и которые только укрепляют мужчин в воздержании. Девушки, которых тогда выводили на прогулку, выбирались, если можно так сказать, так же, как на нормандских пастбищах выбирают гигантских животных, полных плоти и жизни, которых показывают на карнавале. С обнаженной грудью, плечами, руками, в разгар зимы, с головой, увенчанной огромными букетами цветов, они возвышались над всей толпой мужчин. Старики помнят, как во времена Террора и Консулата в Пале-Рояле они видели четырех колоссальных блондинок, настоящих атлантов проституции, которые больше всех других несли на себе бремя революционной оргии. С каким презрением они смотрели на рой модниц, суесящихся в деревянных галереях, чьи остроумные выражения лиц и кокетливые взгляды мало компенсировали их худобу!

Вот видимые стороны Пале-Рояля. Но кто бы ни прошел по двум долинам Гоморры, которые окружают его, кто бы ни поднялся на девятый этаж пассажа Радзивилл, настоящей башни Содома, тот нашел бы совсем другое. Многие предпочитали эти темные пещеры, мрачные дыры, маленькие игорные притоны, лачуги, тупики, освещенные днем лампами подвалы, все это с привкусом того пресного запаха старого дома, который даже в Версале, среди всей его роскоши, поражал обоняние уже внизу лестницы. Старая герцогиня Д..., возвращаясь в Тюильри в 1814 году, когда ее поздравляли и показывали, что хорошие времена полностью вернулись, печально сказала: «Да, но это не запах Версаля».

Вот грязный, отвратительный, мрачный мир постыдных удовольствий, в котором укрылась толпа людей, одни из которых были контрреволюционерами, другие — теперь беспартийными, разочарованными, утомленными, сломленными событиями, лишенными сердца и идей. Эти люди были полны решимости создать себе алиби в азартных играх и женщинах на все время бури. Они погрузились в это, твердо решив больше не думать. Народ умирал от голода, а армия от холода; какое им было дело? Враги Революции, которая призывала их к жертвам, они как будто говорили ей: «Мы в твоей пещере; ты можешь съесть нас одного за другим, меня завтра, его сегодня... На это мы согласны; но чтобы сделать нас людьми, пробудить наши сердца, сделать нас щедрыми, чувствительными к бесконечным страданиям мира... на это мы не согласны».

Мы погрузились здесь в самую глубину эгоизма, открыли трюм, посмотрели в канализацию... Достаточно, отвернемся.

И давайте же хорошо понимать, что мы еще не избавились от этого. Если мы поднимаемся выше, то это происходит через незаметные переходы. От домов девушек к домам азартных игр, тогда бесчисленным, разница небольшая, поскольку игры обычно ведут сомнительные дамы. Выше находятся салоны актрис, а на том же уровне, совсем рядом, салоны таких же женщин-писательниц, таких же политических интриганок. Печальная лестница, где подъем не означает улучшение. Возможно, самое низкое было еще наименее опасным. Девушки — это одурманенность и путь к смерти. Дамы здесь, чаще всего, — это другая смерть, и худшая, смерть убеждений и принципов, ослабление мнений, роковое искусство размягчать, разбавлять характеры.

Представьте себе новых людей на парижской арене, брошенных в такой мир, где все было направлено на то, чтобы ослабить и унижить их, лишить их гражданского духа, энтузиазма и строгости. Под этим влиянием большинство жирондистов утратили не боевой пыл, не мужество, не готовность умереть, а скорее готовность победить, твердое и сильное решение одержать победу любой ценой. Они смягчились, у них исчезла «та ярость в крови, которая помогает выигрывать сражения». Удовольствие помогало философии, и они смирились. Как только политик смиряется, он проиграл.

Эти люди, в большинстве своем очень молодые, до сих пор погребенные в темноте провинций, вдруг оказались в свете софитов, в окружении совершенно новой для них роскоши, окруженные лестными словами и ласками элегантного общества. Лесть и ласки были тем сильнее, что часто были искренними; их энергия вызвала восхищение, и они были так нужны! Женщины, особенно лучшие из них, в таких случаях оказывают опасное влияние, которому никто не может противостоять. Они действуют своим очарованием, часто еще больше — трогательным интересом, который они вызывают, своими страхами, которые хочется успокоить, счастьем, которое они действительно испытывают, успокаиваясь рядом с вами. Такой человек приходил хорошо вооруженный, в доспехах, не поддающийся никакому соблазнению; красота не имела бы никакого эффекта. Но что поделать с женщиной, которая боится, говорит об этом, берет вас за руки, прижимается к вам? «Ах, monsieur! Ах, мой друг, вы еще можете нас спасти... Поговорите за нас, пожалуйста; успокойте меня, сделайте для меня такой шаг, скажите такие слова... Вы не сделали бы этого для других, я знаю, но вы сделаете это для меня... Посмотрите, как бьется мое сердце!»

Эти дамы были очень ловкими. Сначала они тщательно скрывали свои скрытые мотивы. В первый день в их салонах вы бы увидели только хороших республиканцев, умеренных, честных. На второй день вам уже представляли фейантов, файетистов. И еще некоторое время больше ничего не показывали. Наконец, уверенные в своей силе, подчинив слабое

сердце, приучив глаза и уши к этим нюансам малореспубликанского общества, они раскрывали свою истинную сущность, старых друзей-роялистов, для которых они работали. Счастлив тот бедный молодой человек, который, прибыв в Париж с чистым сердцем, не оказался без своего ведома в окружении шпионов-дворян, интриганов из Кобленца.

Таким образом, почти вся Жиронда попала в сети парижского общества. От жирондистов не требовали, чтобы они становились роялистами; они сами становились жирондистами. Эта партия постепенно превратилась в прибежище роялизма, в защитную маску, под которой контрреволюция могла удержаться в Париже в присутствии самой Революции. Люди, занимавшиеся финансами и банковским делом, разделились: одни были жирондистами, другие — якобинцами. Однако переход от их прежних, слишком известных взглядов к республиканским взглядам казался им более легким со стороны Жиронды. Салоны художников, особенно модных дам, были нейтральной территорией, где банкиры случайно встречались с политиками, беседовали с ними, знакомились без каких-либо представлений и в конце концов сближались.

Но самые чистые отношения, самые далекие от интриг, отношения истинной любви, не менее способствовали тому, что Жиронда потеряла свою силу. Любовь мадемуазель Кандей не была чуждой гибели Верньо. Эта сердечная забота усилила его нерешительность, его природную леность. Говорили, что его душа часто блуждала где-то вдали. И это было не без основания. В то время, когда родина требовала его всего, его душа обитала в другой душе. Сердце женщины, слабое и очаровательное, как бы заключало в себе львиное сердце Верньо. Голос и арфа мадемуазель Кандей, красивой, доброй, очаровательной, очаровали его. Бедный, он был любим и предпочитает той, за которой следовала толпа. В этом не было ни тщеславия, ни успехов оратора, ни успехов молодой музы, чья пьеса была поставлена сто пятьдесят раз.

Эта красивая и очаровательная женщина, полная нравственной грации, трогательная своим талантом, своими внутренними достоинствами, своей нежной сыновней преданностью, искала и любила этого ленивого гения, который спал на высотах; она, за которой следовала толпа, отошла от всех, чтобы подняться к нему. Верньо позволил себе полюбить; он окутал свою жизнь этой любовью и продолжал свои мечты. Однако он был слишком прозорлив, чтобы не видеть, что они оба шли по краю пропасти, в которую, без сомнения, придется упасть. Еще одна печаль: он не мог защитить эту совершенную женщину, которая отдалась ему. К сожалению, она принадлежала публике; ее благочестие, необходимость поддерживать своих родителей привели ее на сцену, подвергнув ее капризам столь бурного мира. Та, которая хотела угодить одному, должна была угодить всем, делить между этой жаждущей сенсаций, смелой, безнравственной толпой сокровище своей красоты, на которое имел право только один. Как это унижительно и больно! Как это страшно, как это заставляет дрожать в присутствии фракций, когда жертвоприношение женщины может в любой момент стать жестокой игрой партий, варварским развлечением.

Здесь великий оратор был очень уязвим. Здесь боялся тот, кто ничего не боялся. Здесь не было ни доспехов, ни одежды, ничего, что могло бы защитить его сердце.

Это время любило опасность. Именно в разгар суда над Людовиком XVI, под убийственными взглядами враждующих партий, которые готовились к смертельной схватке, они раскрыли публике место, которое можно было ударить. Верньо только что одержал свой величайший триумф, триумф человечества. Сама мадемуазель Кандейль, спустившись на сцену, сыграла свою собственную пьесу *«Прекрасная фермерша»*. Она перенесла восторженную публику за

сотни, за тысячи лиг от всех событий, в мягкий и мирный мир, где все было забыто, даже опасность, угрожавшая родине.

Эксперимент удался. «Красавица-фермерша» имела огромный успех; даже якобинцы пощадили эту очаровательную женщину, которая давала всем опиум любви, воды Леты. Однако впечатление от этого было не менее неблагоприятным для Жиронды. Пьеса подруги Верньо показала слишком явно, что его партия была партией человечества и природы больше, чем родины, что она будет убежищем для побежденных, что, наконец, эта партия не обладала той неукоснительной строгостью, в которой нуждалось время.

XXI

ПЕРВАЯ ЖЕНА ДАНТОНА (92-93).

Коллекция полковника Морена, к сожалению, сегодня проданная и распроданная, содержала, среди прочих ценных вещей, очень красивый гипсовый слепок первой жены Дантона, сделанный, как я полагаю, с мертвого тела. Ее характер отличался добротой, спокойствием и силой. Неудивительно, что она имела большое влияние на сердце своего мужа и оставила после себя столько сожалений.

Как могло быть иначе? Она была женой его молодости и бедности, его первых неизвестных лет. Дантон, тогда адвокат в совете, адвокат без дел, имевший в собственности лишь долги, содержался своим тестем, владельцем лимонадной на углу моста Неф, который, как говорят, давал им несколько луидоров в месяц. Он жил по-королевски на мостовой Парижа, без забот и беспокойств, зарабатывая мало и ни в чем не нуждаясь. Когда в доме совершенно не хватало продовольствия, они на время уезжали в лес, в Фонтене под Винсенном, где у тестя был небольшой домик.

Дантон, обладая характером, богатым пороками, не имел дорогостоящих пристрастий. Он не был ни игроком, ни пьяницей. Он любил женщин, это правда, но прежде всего свою жену. Женщины были тем уязвимым местом, через которое партии атаковали его, пытаясь получить над ним какое-то влияние. Так, партия Орлеана пыталась околдовать его любовницей принца, прекрасной мадам де Бюффон. Дантон, по своему воображению, по требованию своего бурного темперамента, был очень изменчив. Однако его потребность в настоящей любви и привязанности неизменно возвращала его каждый вечер в супружескую постель, к доброй и дорогой жене его юности, в скромный дом бывшего Дантона.

Несчастье бедной женщины заключалось в том, что в 92 году она была внезапно переведена в министерство юстиции в страшный момент вторжения и массовых убийств в Париже. К большому огорчению мужа, она заболела. Мы не сомневаемся, что в значительной степени именно из-за нее Дантон в ноябре или декабре предпринял последнюю, мучительную и унижительную попытку сблизиться с Жирондой, чтобы, если это было возможно, остановить падение в бездну, которая собиралась поглотить все.

Ошеломляющая быстрота такой революции, которая обрушивала на ее сердце одно событие за другим, сломила мадам Дантон. Ужасная репутация ее мужа, его страшная хвастливость по поводу сентября, убили ее. Она вошла, дрожа, в этот роковой отель Министерства юстиции, а вышла оттуда мертвой, то есть убитой. Это была тень, которая вернулась в маленькую квартиру на Пассаже Коммерс, в печальном доме, который образует аркаду и

свод между пассажем и улицей (самой по себе печальной) Корделье; сегодня это улица Эколь-де-Медисин.

Это был сильный удар для Дантона. Он подошел к тому роковому моменту, когда человек, сосредоточив все свои силы на главном деле своей жизни, теряет единство, и его двойственность вновь проявляется. Слабея сила воли, с новой силой возвращаются природа и сердце, то, что было первоначальным в человеке. В обычном течении вещей это происходит в два разных возраста, разделенных временем. Но тогда, как мы уже сказали, времени больше не было; Революция убила его, как и многое другое.

Для Дантона этот момент уже наступил. Совершив свое дело, спас общество в 92 году, он, вопреки своему на мгновение ослабевшему волеизъявлению, подвергся восстанию природы, которая овладела его сердцем, жестоко терзала его, пока гордость и ярость не взяли верх и не привели его к смерти.

Люди, которые так щедро отдают свою жизнь, которые питают народы своими словами, своим горячим сердцем, кровью своего сердца, очень нуждаются в домашнем очаге. Это сердце должно восстановиться, эта кровь должна успокоиться. И это может сделать только женщина, причем очень хорошая, как мадам Дантон. Судя по портрету и бюсту, она была сильной и спокойной, а также красивой и нежной: традиция Арсиса, куда она часто ездила, добавляет, что она была набожной, от природы меланхоличной и застенчивой.

Она заслуживала похвалы за то, что в своем благополучном и спокойном положении решила рискнуть, признать и последовать за этим молодым человеком, этим неизвестным гением, не имеющим ни репутации, ни состояния. Будучи добродетельной, она выбрала его, несмотря на его пороки, заметные на его мрачном и потрясенном лице. Она связала себя с этой темной, неопределенной судьбой, которую можно было назвать построенной на буре. Простая женщина, но полная сердца, она схватила проходящего мимо ангела тьмы и света, чтобы следовать за ним через бездну, перейти острый мост... Там у нее не хватило сил, и она скользнула в руки Бога.

«Женщина — это удача», — говорили где-то на Востоке. Это была не только женщина, которая ускользнула от Дантона, это была удача и его счастливая судьба; это была молодость и грация, та милость, которую судьба дарует мужчине в качестве чистого дара, когда он еще ничего не заслужил. Это были доверие и вера, первый акт веры, который был совершен в него. Жена арабского пророка спросила его, почему он всегда сожалеет о своей первой жене: «Это потому, — сказал он, — что она верила в меня, когда никто в меня не верил».

Я ничуть не сомневаюсь, что именно мадам Дантон заставила своего мужа пообещать, что, если придется свергнуть короля, он спасет ему жизнь, по крайней мере спасет королеву, благочестивую мадам Элизабет, и двух детей. У него тоже было двое детей: один зачат (судя по датам) в священный момент, последовавший за взятием Бастилии; другой — в 91 году, в момент, когда смерть Мирабо и распад Учредительного собрания открыли будущее для Дантона, когда должно было появиться новое Собрание и новый король слова.

Эта мать, между двумя колыбелями, лежала больная, ухаживаемая матерью Дантона. Каждый раз, когда он возвращался домой, уязвленный и раненный событиями снаружи, оставляя у двери доспехи политика и стальную маску, он находил совсем другую рану, эту ужасную и кровоточащую рану, уверенность в том, что вскоре он будет разорван на части, разорван пополам, гильотинирован в сердце. Он всегда любил эту замечательную женщину, но его легкомыслие, его горячность иногда уводили его в другое место. И вот она уходила, и

вот он осознавал силу и глубину своей страсти к ней. И он ничего не мог поделать, она таяла, убегала, ускользала от него, по мере того как его сжатые руки сжимали ее все сильнее.

Самое тяжелое было то, что ему даже не давали возможности увидеть ее хотя бы до конца и получить ее прощание. Он не мог оставаться здесь; ему нужно было покинуть эту смертную постель. Его противоречивое положение могло выйти наружу; ему было невозможно примирить Дантона и Дантона. Франция, весь мир будут следить за ним в этом роковом процессе. Он не мог говорить, он не мог молчать. Если бы он не нашел какого-то уловки, которая привлекла бы на свою сторону правых и, через них, центр, большинство Конвента, ему пришлось бы уехать, бежать из Парижа, отправиться в Бельгию, чтобы вернуться, когда ход событий и судьба развяжут или разрежут этот узел. Но будет ли тогда эта больная, так больная женщина еще жива? Найдёт ли она в своей любви достаточно сил и энергии, чтобы прожить до тех пор, вопреки природе, и сохранить последний вздох для возвращающегося мужа? Можно было предвидеть, что произойдет, что будет слишком поздно, что он вернется только для того, чтобы найти пустой дом, детей без матери и это тело, так сильно любимое, на дне гроба. Дантон не верил в душу, и именно тело он преследовал и хотел увидеть снова, которое он вырвал из земли, ужасное и обезображенное, через семь ночей и семь дней, которое он отнял у червей в безумном объятии.

XXII

ВТОРАЯ ЖЕНА ДАНТОНА — ЛЮБОВЬ В 95 ГОДУ.

Падение Жиронды вызвало огромное уныние. Победители были поражены почти так же, как и побежденные. Марат заболел. Верньо даже не удосужился бежать. Дантон искал в повторном браке своего рода *алиби* для политических дел.

Любовь сыграла большую роль в смерти Верньо и Дантона.

Великий оратор из Жиронды, заключенный на улице Клиши, в этом тогда пустынном и покрытом садами квартале, заключенный не столько Конвентом, сколько мадемуазель Кандей, плавал в любви и сомнениях. Останется ли у него эта любовь к блестящей театральной женщине, когда все будет уничтожено? То, что он сохранял в себе, отражалось в его резких письмах, направленных против Горы. Судьба избавила его от необходимости действовать, и он не особо сожалел об этом, находя сладкой смерть, наслаждаясь прекрасными слезами, которые так легко дарит женщина, и желая верить, что его любят.

Дантон в те же моменты готовился к тому же самоубийству.

К сожалению, так поступают многие мужчины. В тот момент, когда общественное дело становится личным делом, вопросом жизни и смерти, они говорят: «Дела подождут до завтра». Они замыкаются в своих домах, укрываются в очаге, в любви, в природе. Природа — добрая мать, она скоро примет их обратно, поглотит в своем лоне.

Дантон женился в трауре. Его первая жена, которую он так любил, умерла 10 февраля. А 17-го он эксгумировал ее, чтобы еще раз увидеть. 17 июня исполнилось ровно четыре месяца с того дня, когда, обезумев от горя, он вновь вскрыл землю, чтобы в ужасе поцеловать в саване ту, которая была его молодостью, счастьем и удачей. Что он увидел, что обнял (через семь дней!)? Одно можно сказать наверняка: на самом деле она унесла его с собой.

Умирая, она подготовила и пожелала его второго брака, который так сильно способствовал его гибели. Любя его страстно, она догадалась, что он любит, и хотела сделать его счастливым. Она также оставила двух маленьких детей и верила, что дает им мать в лице молодой девушки, которой было всего шестнадцать лет, но которая была полна нравственного очарования, набожна, как мадам Дантон, и происходила из роялистской семьи. Бедная женщина, умирающая от эмоций сентября и ужасной репутации своего мужа, несомненно, верила, что, выдав его замуж, она вытащит его из революции, подготовит его обращение, сделает его, возможно, тайным защитником королевы, ребенка из Темпла, всех преследуемых.

Дантон знал отца девушки, который был судебным приставом в парламенте. Став министром, он устроил ему хорошую должность в морском флоте. Но, несмотря на всю благодарность семьи Дантону, она не одобрила его планы по поводу брака. Мать, несколько не поддаваясь страху перед его именем, резко упрекнула его за то, что он не сделал в сентябре и что он хотел спасти короля, который погиб.

Дантон воздержался от оправданий. Он сделал то, что обычно делают в таких случаях, когда хотят выиграть дело, когда влюблены и торопятся: он раскаялся. Он признался, что, что было правдой, ему с каждым днем все труднее было терпеть чрезмерную анархию, что он уже чувствовал себя утомленным революцией и т. д.

Если он так не нравился матери, то и дочери он тоже не нравился. Мадемуазель Луиза Жели, нежная и милая девушка, воспитанная в этой старинной буржуазной семье, состоящей из честных, но посредственных людей, была полностью погружена в традиции старого режима. Она испытывала к Дантону удивление и немного страха, гораздо больше, чем любовь. Этот странный человек, одновременно и лев, и человек, оставался для нее непонятным. Как бы он ни стачивал зубы, ни укорачивал когти, она несколько не успокаивалась перед этим величественным чудовищем.

Чудовище было, однако, хорошим человеком, но все его величие обращалось против него. Эта загадочная дикая энергия, эта поэтическая уродливость, озаренная вспышками, эта сила могучего мужчины, из которой изливался живой поток идей, вечных слов, все это пугало, возможно, сжимало сердце ребенка.

Семья решила остановить его, представив ему препятствие, которое считала непреодолимым: необходимость подчиняться католическим обрядам. Все знали, что Дантон, настоящий сын Дидро, видел в христианстве только суеверие и поклонялся только Природе.

Но именно поэтому этот сын, этот раб Природы, без труда подчинился. Какой бы алтарь или идол ему ни представили, он бежал к нему, клялся ему... Такова была тирания его слепого желания. Природа была соучастницей; она внезапно раскрыла всю свою сдерживаемую энергию; весна, немного запоздавшая, разразилась жарким летом; это было извержение роз. Никогда еще не было такого контраста между столь триумфальным временем года и столь мрачной ситуацией. В моральном упадке тем сильнее давила сила жаркой, требовательной, страстной температуры. Дантон, под влиянием этого импульса, не стал сопротивляться, когда ему сказали, что благословение нужно получить от непокорного священника. Он был готов пройти через огонь. Этот священник, наконец, в своем чердаке, добросовестный и фанатичный, не отпустил Дантона за купленную записку. Говорят, что ему пришлось преклонить колени, притвориться, что он исповедуется, осквернив одним действием сразу две религии: нашу и религию прошлого.

Где же был этот алтарь, освященный нашими Ассамблеями религии Закона, на руинах старого алтаря произвола и Милости? Где был алтарь Революции, куда добрый Камиль, друг Дантона, принес своего новорожденного сына, первым подавая пример будущим поколениям?

Те, кто знаком с портретами Дантона, особенно с набросками, которые Давид запечатлел в ночи Конвента, знают, как человек может превратиться из льва в быка, что я говорю? упасть до уровня кабана, мрачного, подавленного, удручающего образа дикой чувственности.

Вот новая сила, которая будет всемогущественно царить в кровопролитную эпоху, о которой мы должны рассказать; мягкая сила, ужасная сила, которая растворяет, ломает нерв Революции. Под видимой строгостью республиканских нравов, среди террора и трагедий эшафота, женщина и физическая любовь являются королями 93-го года.

Мы видим осужденных, которые уезжают на телеге, беззаботные, с розой во рту. Это истинный образ того времени. Эти кровавые розы ведут человека на смерть.

Дантон, ведомый, тащавшийся таким образом, признавался в этом с циничной и болезненной наивностью, выражение которой необходимо изменить. Его обвиняли в заговоре. «Я? — говорил он. — Это невозможно! Что вы хотите, чтобы делал человек, который каждую ночь увлеченно занимается любовью?»

В меланхолических песнях, которые по-прежнему повторяют, Фабр д'Эглантин и другие оставили «Марсельезу» траурных удовольствий, которую много раз пели в тюрьмах, в суде и даже у подножия эшафота. В 93 году Любовь показала себя такой, какая она есть на самом деле, — сестрой Смерти.

—IV—

XXIII

БОГИНЯ РАЗУМА (10 НОЯБРЯ 93 ГОДА).

В 1816 году я познакомился с мадемуазель Доротеей... которая в каком-то городе изображала Разум на праздниках 95 года. Это была серьезная женщина, всегда вела образцовую жизнь. Ее выбрали за ее высокий рост и хорошую репутацию. Она никогда не была красивой, к тому же косоглазая.

Основатели нового культа, которые ни в коем случае не хотели его осквернять, в своих газетах настоятельно рекомендовали тем, кто хотел бы устраивать праздники в других городах, *выбирать для исполнения столь августейшей роли людей, чей характер делает их красотою уважаемой, чья строгость нравов и взглядов отталкивает разврат и наполняет сердца честными и чистыми чувствами.* Как правило, это были девушки из уважаемых семей, которые по своей воле или по принуждению должны были представлять Разум.

Разум был представлен в Сен-Сюльписе женой одного из первых магистратов Парижа, а в Нотр-Даме — известной, любимой и уважаемой артисткой мадемуазель Майяр. Известно, насколько эти первые лица (в силу самого своего искусства) привязаны к трудолюбивой и серьезной жизни. Этот божественный дар обходится им дорогой ценой — отказом от

большинства удовольствий. В тот день, когда более мудрый мир вернет женщинам священство, как это было в древности, кто удивится, увидев во главе национальных торжеств добрую, милосердную, святую Гарсию Виардо?

За три дня до праздника хотели, чтобы символом Разума была статуя. Возражали, что неподвижный образ может напоминать Деву Марию *и породить новое идолопоклонство*. Предпочли подвижный, одушевленный и живой образ, который, меняясь с каждым праздником, не мог стать предметом суеверия.

Это был момент, когда Шометт, знаменитый прокурор Коммуны, вступив в оппозицию со своим коллегой Эбером, потребовал, чтобы причудливая тирания маленьких революционных комитетов контролировалась и ограничивалась инспекцией генерального совета. Под знаменем умеренности и снисходительной справедливости 10 ноября была торжественно провозглашена новая религия. Госсек сочинил песни, Шенье — тексты. За два дня в тесном хоре собора Нотр-Дам был построен храм Философии, украшенный изображениями мудрецов, отцов Революции. Этот храм возвышался на горе; на скале горел факел Истины. Магистраты сидели под колоннами. Ни оружия, ни солдат. Два ряда юных девушек, еще детей, составляли все украшение праздника; они были в белых платьях, увенчаны венками из дуба, а не, как говорили, из роз.

Разум, одетый в белое с голубым плащом, выходит из храма Философии и садится на простой зеленый трон. Девочки поют ему гимн; он пересекает подножие горы, бросая на собравшихся мягкий взгляд, мягкую улыбку. Он возвращается, и все снова поют... Все ждали... Это было все.

Целомудренная церемония, печальная, сухая, скучная[16].

Из Нотр-Дама Разум отправился в Конвент. Он вошел туда со своей невинной свитой маленьких девочек в белом: Разум, человечество, Шометт, который вел его, благодаря смелой инициативе справедливости, которую он предпринял накануне, полностью гармонировал с настроением Ассамблеи.

Между Коммуной, Конвентом и народом возникло очень искреннее братство. Председатель усадил Разум рядом с собой, от имени Ассамблеи обнял его по-братски, и все, на мгновение объединенные его мягким взглядом, надеялись на лучшие дни.

Бледный послеполуденный солнечный свет (редкое явление в брюмера), проникая в темный зал, немного освещал его тени. Дантонисты потребовали, чтобы Ассамблея сдержала свое слово, пошла в Нотр-Дам и, посетив Разум, ответила ему взаимностью. Все поднялись с единодушным восторгом.

Погода была прекрасная, ясная, суровая и чистая, как бывают прекрасные зимние дни. Конвент двинулся в путь, счастливый от этого проблеска единства, который на мгновение появился среди стольких разногласий. Многие искренне присоединились к празднику, веря, что это и есть истинное завершение эпохи.

Их мысли остроумно сформулированы в словах Клуца: «Разногласия между сектами исчезают в *единстве, неделимости* связи».

КУЛЬТ ЖЕНЩИН ДЛЯ РОБЕСПЬЕРРА.

Удивительно, что такой строгий на вид человек, как Робеспьер, этот добровольно бедный, аккуратный, но однообразно и посредственно одетый, с вычисленной простотой, был так любим и востребован женщинами.

На это есть только один ответ, и в этом заключается весь секрет культа, которым он был окружен: *он внушал доверие.*

Женщины вовсе не ненавидят суровый и серьезный вид. Часто становясь жертвами легкомысленности мужчин, они охотно сближаются с тем, кто их успокаивает. Они инстинктивно полагают, что суровый мужчина, как правило, лучше всего сохранит свое сердце для любимого человека.

Для них сердце — это все. В мире ошибочно считают, что женщинам нужно развлекаться. Сентиментальная риторика Робеспьера порой была скучной, но ему достаточно было сказать: «Очарование добродетели, нежные уроки материнской любви, святая и нежная близость, чувствительность моего сердца» и другие подобные фразы, чтобы женщины были тронуты. Добавьте к этому, что среди этих общих фраз всегда была и более сентиментальная часть, обычно о нем самом, о трудах его тяжелой карьеры, о его личных страданиях; все это было в каждой речи и настолько регулярно, что люди ждали этого момента и держали платки наготове. Затем, когда эмоции уже были разжиганы, наступала известная часть, за исключением тех или иных вариаций, о опасностях, которым он подвергался, о ненависти своих врагов, о слезах, которыми однажды будут орошать прах мучеников свободы... Но когда дело доходило до этого, это было уже слишком, сердца разрывались, они не могли больше сдерживаться и разрывались в рыданиях.

Робеспьер сильно помогал себе в этом своим бледным и печальным видом, который заранее убеждал чувствительные сердца. С его обрывками из «Эмиля» или «Общественного договора» он выглядел на трибуне как печальный бастард Руссо. Его мигающие, подвижные глаза непрерывно блуждали по всему залу, погружались в плохо освещенные углы, часто поднимались к трибунам женщин. Для этого он с серьезностью и ловкостью манипулировал двумя парами очков: одними, чтобы видеть вблизи или читать, другими, чтобы различать вдаль, как будто ища кого-то. Каждая из них говорила себе: «Это я».

Яркая пристрастность женщин особенно проявилась, когда в конце 92 года, в своей борьбе с Жирондой, он заявил якобинцам, что, если интриганы исчезнут, он сам уйдет из общественной жизни, покинет трибуну, желая только «прожить свои дни в блаженстве святой и нежной близости». С трибун раздались многочисленные женские голоса: «Мы последуем за вами! Мы последуем за вами!»

В этом увлечении, если отбросить смешные моменты, связанные с личностью и временем, было что-то очень достойное уважения. Они искренне следовали за тем, чьи нравы были самыми достойными, честность — наиболее очевидной, идеалы — самыми высокими, тем, кто с таким же мастерством, как и мужеством, став в то время защитником религиозных идей, осмелился в декабре 92 года поблагодарить Провидение за спасение Родины.

РОБЕСПЬЕР У МАДАМ ДЮПЛЕ (91-95).

Небольшой, посредственный и безвкусный портрет семнадцатилетнего Робеспьера изображает его с розой в руке, возможно, чтобы показать, что он уже был членом академии *Розати* в Аррасе. Он держит эту розу у своего сердца. Внизу написана нежная надпись: «Все для моей подруги». (Коллекция Сен-Альбина.)

Остался ли молодой человек из Арраса, переехавший в Париж, неизменно верным этой чистой чувственности? Мы этого не знаем. Возможно, в Учредительном собрании близкая дружба с Ламе и другими молодыми аристократами левого толка несколько отклонила его от этого пути. Возможно, в первые месяцы работы Ассамблеи, полагая, что нуждается в них, желая укрепить эту связь с помощью рассчитанных действий, он не был чужд коррупции того времени^[17]. Если это было так, то он, вероятно, по-прежнему следовал своему учителю Руссо, Руссо из «Исповеди». Но он быстро пришел в себя, и никто не смог более удачно упорядочить его жизнь в процессе постепенной чистки. «Эмиль», «Савойский викарий», «Общественный договор» освободили и облагородили его: он стал по-настоящему Робеспьером. В плане нравов он не опустился.

Мы видели, как в вечер резни на Марсовом поле (17 июля 91 года) он укрылся у плотника; так сложилось по счастливой случайности; но если он вернулся туда и поселился, то это было отнюдь не случайностью.

Вернувшись с триумфом из Арраса после Учредительного собрания в октябре 91 года, он поселился со своей сестрой в квартире на улице Сен-Флорантен, аристократической улице, чьи знатные жители эмигрировали. Шарлотта де Робеспьер, жесткая и суровая по характеру, с юных лет обладала злобой старой девы; ее манеры и вкусы были типичны для провинциальной аристократии; она легко могла бы превратиться в великую даму. Робеспьер, более утонченный и женственный, тем не менее, в своей жесткости, сухости, но ухоженности манер имел некий вид парламентской аристократии. Его речь всегда была благородной, даже в дружеской обстановке, его литературные пристрастия склонялись к благородным или напряженным писателям, к Расину или Руссо.

Он не был членом Законодательного собрания. Он отказался от должности государственного обвинителя, потому что, по его словам, высказавшись резко против тех, кого преследовали, они могли бы отклонить его как личного врага. Предполагалось также, что ему было бы слишком трудно преодолеть свое отвращение к смертной казни. В Аррасе это отвращение заставило его покинуть должность церковного судьи. В Учредительном собрании он высказался против смертной казни, против военного положения и всех насильственных мер общественного спасения, которые были слишком противны его сердцу.

В этот год, с сентября 91-го по сентябрь 92-го, Робеспьер, не занимая никаких государственных должностей, не имея никаких обязанностей, кроме работы журналиста и члена якобинцев, был менее заметен на политической арене. На сцене были жирондинцы, которые блистали своим полным согласием с национальным настроением по вопросу войны. Робеспьер и якобинцы заняли позицию мира, которая была крайне непопулярна и нанесла им большой ущерб. Несомненно, в то время популярность великого демократа нуждалась в укреплении и обновлении. Он долго, неумоимо, три года, занимал, утомлял внимание; в конце концов он получил свой триумф и свою корону. Было страшно, что публика, этот капризный, как король, легко утомляемый зритель, решит, что она достаточно заплатила ему, и переключит свое внимание на какого-нибудь другого фаворита.

Слова Робеспьера не могли измениться, у него был только один стиль; его театр мог измениться, и его постановка. Нужна была машина. Робеспьер не искал ее; она сама пришла к нему, так сказать. Он принял ее, схватил и, без сомнения, счел счастливым и провидением то, что ему пришлось поселиться у плотника.

Постановка играет большую роль в революционной жизни. Марат инстинктивно это почувствовал. Он мог бы, что было очень удобно, остаться в своем первом убежище, на чердаке мясника Лежандра; но он предпочел темноту подвала Кордельеров; это подземное убежище, откуда каждое утро извергались его пламенные речи, как из неизвестного вулкана, очаровывало его воображение; оно должно было захватить воображение народа. Марат, будучи большим подражателем, прекрасно знал, что в 88 году бельгийский Марат, иезуит Феллер, извлек большую выгоду для своей популярности из того, что поселился на глубине ста футов под землей, на дне угольного колодца.

Робеспьер не подражал ни Феллеру, ни Марату, но с удовольствием воспользовался случаем, чтобы подражать Руссо, воплотить в жизнь книгу, которую он постоянно цитировал, скопировать «*Эмиля*» так точно, как только мог.

Он был болен на улице Сен-Флорантен в конце 91 года, болен от усталости, болен от новой для него бездеятельности, болен также из-за своей сестры, когда мадам Дюплей пришла к Шарлотте и устроила ей ужасную сцену за то, что она не предупредила ее о болезни брата. Она не ушла, не забрав с собой Робеспьера, который позволил это сделать довольно любезно. Она поселила его у себя, несмотря на тесноту жилища, в очень чистой мансарде, где поставила лучшую мебель в доме, довольно красивую сине-белую кровать и несколько хороших стульев. Вокруг стояли новые сосновые полки, на которых лежали немногие книги оратора; остальное место занимали его многочисленные речи, отчеты, мемуары и т. д. Кроме Руссо и Расина, Робеспьер читал только Робеспьера. На стенах страстная рука мадам Дюплей повсюду развесила изображения и портреты, сделанные его богом; куда бы он ни повернулся, он не мог избежать встречи с самим собой; справа, слева, Робеспьер, снова Робеспьер, всегда Робеспьер.

Самый искусный политик, построивший дом специально для этой цели, не добился бы такого успеха, как случай. Если это и не был подвал, как жилище Марата, то маленький темный дворик был не хуже подвала. Низкий дом, зеленоватая черепица которого свидетельствовала о сырости, с небольшим садом без воздуха за ним, был как бы задушен между гигантскими домами улицы Сен-Оноре, в то время смешанного района, где жили банкиры и аристократы. Ниже находились княжеские отели пригорода и великолепная улица Рояль с отвратительным воспоминанием о пятнадцати сотнях задушенных на свадьбе Людовика XVI. Выше были отели генеральных фермеров на площади Вандом, построенные на нищете народа.

Какие впечатления испытывали посетители Робеспьера, верующие, паломники, когда в этом безбожном квартале, где все ранило их взоры, они приходили полюбоваться Праведником? Дом проповедовал, говорил. Уже на пороге бедный и унылый вид двора, сарай, рубанок, доски говорили им словом народа: «Здесь живет *неподкупный*». — Если они поднимались вверх, мансарда заставляла их воскликнуть еще громче; чистая и бедная, явно трудолюбивая, без украшений, кроме бумаг великого человека на сосновых досках, она говорила о его безупречной нравственности, его неутомимом труде, жизни, полностью посвященной народу. Здесь не было театральности, фантазмагии маньяка Марата, метавшегося в своем подвале, изменчивого в словах и поведении. Здесь не было капризов,

все было упорядочено, честно, серьезно. Восхищение нарастало; казалось, что мы впервые в этом мире увидели дом добродетели.

Однако следует отметить, что, при ближайшем рассмотрении, этот дом не был жилищем ремесленника. Об этом достаточно ясно свидетельствовала первая мебель, которую можно было увидеть в маленькой гостиной на первом этаже. Это был клавесин, инструмент, редкий в то время даже среди буржуазии. Инструмент позволял догадаться о том, какое образование получали сестры Дюплей, каждая по очереди, в соседнем монастыре, по крайней мере в течение нескольких месяцев. Столяр не был столяром в прямом смысле этого слова; он был предпринимателем в области столярных работ в строительстве. Дом был небольшой, но, в конце концов, он принадлежал ему; он жил у себя дома.

Все это имело два аспекта: с одной стороны, это были простые люди, а с другой — нет; это были, если угодно, трудолюбивые, трудолюбивые люди, которые недавно благодаря своим усилиям и труду перешли в разряд мелкой буржуазии. Переход был заметным. Отец, добрый, горячий и суровый человек, мать, сильная и энергичная, оба полные энергии и сердечности, были настоящими людьми из народа. Младшая из четырех дочерей унаследовала их энергию и энтузиазм; другие уже отходили от этого, особенно старшая, которую патриоты с уважительной галантностью называли мадемуазель Корнелия. Она, безусловно, была дебютанткой; она тоже чувствовала Расина, когда Робеспьер иногда читал в семье. Во всем она проявляла строгую гордость, как в домашнем хозяйстве, так и за клавесином; когда она помогала матери в сарае, стирая или готовя ужин для семьи, это всегда была Корнелия.

Робеспьер прожил там год, вдали от трибуны, писатель и журналист, весь день готовя статьи и речи, которые он должен был произносить вечером перед якобинцами; — год, единственный, по сути, который он прожил в этом мире.

Мадам Дюплей находила очень приятным держать его там, окружая его заботливой охраной. Об этом можно судить по той живости, с которой она сказала Комитету 10 августа, который искал у нее безопасное место: «Уходите: вы поставите Робеспьера в опасное положение».

Он был ребенком в доме, богом. Все были преданы ему. Сын служил ему секретарем, переписывал, переписывал его исправленные речи. Отец Дюплей, племянник, слушали его с неутомимым вниманием, поглощали каждое его слово. Девушки Дюплей видели в нем брата; младшая, живая и очаровательная, не упускала ни одной возможности развеселить бледного оратора. С таким гостеприимством ни один дом не мог быть печальным. Небольшой дворик, оживленный семьей и рабочими, не испытывал недостатка в движении. Робеспьер, сидя в своей мансарде за сосновым столом, за которым он писал, поднимал глаза между двумя предложениями и видел, как мадемуазель Корнелия или одна из ее милых сестер ходила туда-сюда, из дома в сарай, из сарая в дом. Насколько он должен был укрепиться в своих демократических взглядах, видя столь милый образ жизни народа! Народ, без вульгарности, без нищеты и пороков, сопутствующих нищете! Эта жизнь, одновременно народная и благородная, где домашние заботы поднимаются на уровень морального отличия тех, кто им занимается! Красота, которую приобретает быт даже в его самых скромных проявлениях, превосходство еды, приготовленной любимой рукой!... Кто не испытывал все это? И мы не сомневаемся, что несчастный Робеспьер, в сухой, мрачной, искусственной жизни, которую обстоятельства создали для него с самого рождения, все же испытывал в этот момент очарование природы, наслаждался этим нежным лучиком.

Разумеется, с такой семьей было трудно компенсировать ущерб. Один из диссидентов-якобинцев однажды упрекнул Робеспьера в том, что он «эксплуатирует дом Дюпле, питается

за их счет, как Оргон питает Тартюфа», — низкий и грубый упрек человека, недостойного почувствовать братство той эпохи и счастье дружбы.

Несомненно, что Робеспьер поселился у мадам Дюплей только при условии, что будет платить за проживание. Так диктовала ему его деликатность. Ему не противоречили, ему позволили говорить. Возможно, даже пришлось, чтобы угодить ему, принимать плату за первые месяцы. Но в ужасном вихре своей короткой судьбы, в ежедневном угнетении он упустил это из виду, полагая, что, кроме того, он, несомненно, сможет компенсировать своим друзьям другим способом. На самом деле у него была только зарплата депутата, которую он часто забывал получать. После выплаты пенсии своей сестре, нескольких расходов на белье или одежду и нескольких монет, данных по дороге маленьким савойцам, у него не оставалось абсолютно ничего. Десять тысяч франков, которые якобы были найдены у него 9 термидора, — это выдумка его врагов. Тогда он был должен мадам Дюплей четыре тысячи франков за пенсию.

XXVI

ЛЮСИЛЬ ДЕСМУЛЕН (АПРЕЛЬ 94).

Учредительное собрание распорядилось, чтобы в каждой коммуне, в муниципальном зале, где регистрировались браки, рождались и умирали, был установлен алтарь.

Три важнейших момента человеческой судьбы были таким образом посвящены алтарю коммуны, а религии семьи объединились с религиями отечества, и этот алтарь вскоре стал единственным, а муниципалитет — храмом.

Совет Мирабо был бы выполнен: «Вы ничего не сделаете, если не дехристианизируете Революцию».

В 93 году несколько рабочих из пригорода Сен-Антуан заявили, что не считают свои браки законными, если они не освящены Коммуной через магистрата.

Камиль Демулен в 91 году женился в Сен-Сюльписе по католическому обряду; так хотела семья его жены. Но в 92 году, когда родился его сын Гораций, он сам отнес его в мэрию и потребовал применения закона Учредительного собрания. Это был первый пример республиканского крещения.

Самым трогательным воспоминанием всей Революции является воспоминание о ее великом писателе, добром и красноречивом Камилле, о его очаровательной Люсиль, о поступке, который привел их обоих к смерти (и к которому она непосредственно причастна), о смелом предложении, сделанном в разгар Террора, о создании *Комитета милосердия*.

Бедный, лучше сказать, нищий в 89 году, не обладающий физическими достоинствами и, кроме того, почти заикающийся, Камиль благодаря привлекательности своего сердца и очарованию острого ума покорила свою Люсиль, красивую, грациозную, образованную и относительно богатую. Существовал ее портрет, возможно, единственный, драгоценная миниатюра (коллекция полковника Морена). Что с ней стало сейчас? В чьи руки она попала? Эта вещь принадлежит Франции. Я прошу покупателя, кем бы он ни был, помнить об этом и вернуть ее нам. Пусть она будет помещена в музей, в ожидании революционного музея, который рано или поздно будет создан.

Люсиль была дочерью бывшего финансового клерка и очень красивой и замечательной женщины, которую считали любовницей министра финансов Террая. Ее портрет изображает симпатичную женщину из небогатой семьи, о чем свидетельствует ее имя: Люсиль Дюплесси Ларидон. Красивой, но прежде всего непокорной; маленькой Демулен в женском обличье. Ее очаровательное личико, взволнованное, бурное, причудливое, овеяно духом *свободной Франции* (прекрасная памфлетная брошюра ее мужа). Здесь прошел гений, чувствуется любовь гениального человека^[18].

Мы не можем удержаться от удовольствия скопировать наивную страницу, на которой эта двадцатилетняя девушка рассказывает о своих эмоциях в ночь на 10 августа:

«8 августа я вернулась из деревни; все уже были в сильном возбуждении; у меня на ужине были гости из Марсея, мы неплохо повеселились. После ужина мы пошли к господину Дантону. Мать плакала, она была безмерно печальна; ее сын выглядел ошеломленным. Дантон был решителен; я же смеялась как сумасшедшая. Они боялись, что дело не состоится; хотя я не была в этом уверена, я говорила им, как будто я точно знала, что оно состоится. «Но разве можно так смеяться?» — говорила мне мадам Дантон. «Увы, — отвечала я ей, — это предвещает, что сегодня вечером я пролью много слез». Была хорошая погода; мы прогулялись по улице; там было довольно много людей. Несколько санкюлотов прошли мимо, крича: «Да здравствует нация!» Затем прошли конные войска, наконец, огромные войска. Меня охватил страх. Я сказала мадам Дантон: «Уходим». Она посмеялась над моим страхом, но, когда я стала повторять ей это, она тоже испугалась. Я сказала ее матери: «Прощайте, скоро вы услышите звон тревоги». Придя к ней домой, я увидела, что все вооружаются. Камиль, мой дорогой Камиль, пришел с ружьем. О Боже! Я забилась в алькову, закрыла глаза руками и заплакала. Однако, не желая показывать такую слабость и говорить Камиллу вслух, что я не хочу, чтобы он вмешивался во все это, я дождалась момента, когда могла поговорить с ним, чтобы меня не услышали, и рассказала ему обо всех своих страхах. Он успокоил меня, сказав, что не оставит Дантона. Позже я узнала, что он подверг себя опасности. Фрерон выглядел решительным умереть. «Я устал от жизни, — говорил он, — я только и ищу, как умереть». Каждый раз, когда приходил патруль, я думала, что вижу их в последний раз. Я ушла в гостиную, где не было света, чтобы не видеть всех этих приготовлений... Наши патриоты ушли; я села рядом с кроватью, подавленная, опустошенная, иногда засыпая; и когда я хотела говорить, я бредила. Дантон пришел лечь, он не выглядел очень торопливым, почти не выходил. Приближалась полночь; его несколько раз приходили звать; наконец он ушел в Коммуну. Зазвонил колокол Кордельеров, он звонил долго. Одинокая, залитая слезами, стоя на коленях у окна, спрятавшись в платок, я слушала звук этого рокового колокола... Дантон вернулся. Несколько раз приходили с хорошими и плохими новостями; я поняла, что они собираются идти в Тюильри; я сказала им об этом, рыдая. Я думала, что сейчас потеряю сознание. Мадам Роберт спрашивала всех о своем муже. «Если он погибнет, — сказала она мне, — я не переживу его. Но этот Дантон, он же, этот центр притяжения! Если мой муж погибнет, я, как женщина, заколю его...» Камиль вернулся в час ночи; он заснул на моем плече... Мадам Дантон, казалось, готовилась к смерти своего мужа. Утром прогремели пушки. Она прислушалась, побледнела, опустила и потеряла сознание...

«Что с нами будет, о моя бедная Камилла? У меня больше нет сил дышать... Боже мой! Если ты действительно существуешь, спаси людей, достойных тебя... Мы хотим быть свободными; о Боже! Пусть это будет дорого стоить!»

Люсиль, которая здесь так наивно показывает свою женскую слабость, была героиней перед смертью.

Надо было видеть ее в тот решающий момент, когда Демулен и его друзья обсуждали, стоит ли ему сделать решительный и, вероятно, смертельный шаг, потребовать свободы прессы и трибуны, подавленных арестом его друга Фабра д'Эглантина, осмелится ли он встать на пути потока террора!

Кто не видел в этот момент опасность, грозившую бедному художнику? Войдите в этот скромный и славный дом (на улице Аньен-Комеди, недалеко от улицы Дофин). На первом этаже жил Фрерон. На втором — Камиль Демулен и его очаровательная Люсиль. Их друзья, испуганные, приходили к ним, чтобы умолять, предупреждать, останавливать, показывать им бездну. Один человек, несколько не робкий, генерал Брюн, знакомый этого дома, однажды утром был у них и советовал осторожность. Камиль пригласил Брюна на завтрак и, не отрицая, что тот прав, попытался переубедить его. «*Edamus et bibamus*», — сказал он Брюну по-латыни, чтобы Люсиль не услышала, — «*cras enim moriemur*». Тем не менее он говорил о своей преданности и решимости так трогательно, что Люсиль бросилась его обнимать. «Оставьте его, — сказала она, — оставьте его, пусть он выполнит свою миссию: именно он спасет Францию... Те, кто думают иначе, не получают моего шоколада».

Фрерон, друг Камилля, страстный поклонник его жены, только что написал о своей роли в взятии Тулона и о том, как он поднялся на батарее с мечом в руке. Я с удовольствием поверю, что Камиль тем более желал заслужить уважение Люсиль. Он был не только великим писателем. Он хотел быть героем.

Седьмой номер «*Vieux Cordelier*», столь смелый по отношению к двум правящим комитетам, восьмой номер, направленный против Робеспьера (опубликованный в 1836 году), погубили Камилля и втянули его в процесс над Дантоном.

Сильные эмоции, вызванные процессом, невероятная толпа, окружившая Дворец правосудия в благоприятном для обвиняемых настроении, заставляли поверить, что, если заключенные Люксембурга смогут выйти, они смогут увлечь за собой народ. Но тюрьма ломает человека; ни у кого не было оружия, и почти ни у кого не было мужества.

Одна женщина дала им оружие. Молодая жена Демулена бродила, охваченная горем, вокруг Люксембурга. Камиль стоял там, прижавшись к решетке, следя за ней глазами, и писал самые душераздирающие слова, которые когда-либо пронзали сердце человека. В этот ужасный момент она тоже поняла, что сильно любит своего мужа. Молодая и блестящая, она с удовольствием наблюдала за данью уважения со стороны военных, генерала Диллона, Фрерона. Фрерон был в Париже и не осмелился ничего сделать для них. Диллон был в Люксембурге, пил, как настоящий ирландец, и играл в карты с первым встречным.

Камиль потерял себя ради Франции и Люсиль.

Она тоже потеряла себя для него.

В первый день она обратилась к сердцу Робеспьера. Раньше считалось, что Робеспьер женится на ней. В своем письме она напоминала, что он был свидетелем их брака, что он был их лучшим другом, что Камиль не делал ничего, кроме как работал на его славу, добавляя слова женщины, которая чувствует себя молодой, очаровательной, достойной сожаления, которая чувствует, что ее жизнь драгоценна: «Ты убьешь нас обоих; ударив его, ты убьешь меня».

Ответа не последовало.

Она написала своему поклоннику Диллону: «Говорят, что собираются повторить сентябрь... Разве человек с сердцем не должен хотя бы защищать свою жизнь?»

Заклученные покраснели от этого урока женщины и решили действовать. Однако, похоже, они хотели начать только после Люсиль, когда она, бросившись в толпу, подняла бы бунт.

Диллон, смелый, болтливый, нескромный, сначала, играя в карты с неким Лафлоттом, между двумя бокалами вина, рассказал ему все дело. Лафлотт выслушал его и заставил говорить. Лафлотт был республиканцем, но там, запертый, без выхода, без надежды, он был ужасно соблазнен. Он не донес вечером (5 апреля), прождал всю ночь, возможно, все еще колеблясь. Утром он продал свою душу в обмен на жизнь, продал свою честь, рассказал все. Именно этим недостойным оружием были убиты Дантон, Камиль Демулен и, через несколько дней, Люсиль и несколько заключенных Люксембургской тюрьмы, все посторонние для этого дела и даже не знакомые друг с другом.

Единственной из обвиняемых, проявившей большое мужество, была Люсиль Демулен. Она казалась бесстрашной, достойной своего славного имени. Она заявила, что сказала Диллону и заключенным, что если 2 сентября будет совершен переворот, «то для них будет долгом защищать свою жизнь».

Не было ни одного человека, какого бы мнения он ни придерживался, у которого эта смерть не вырвала бы сердце. Она не была политиком, не была Корде, не была Роланом; она была просто женщиной, девушкой, на вид ребенком. Увы! Что она сделала? Хотела спасти любовника? Ее мужа, доброго Камилла, защитника человечества. Она умерла за свою добродетель, эта бесстрашная и очаровательная женщина, за выполнение святейшего долга.

Ее мать, прекрасная, добрая мадам Дюплесси, потрясенная этим событием, о котором она никогда не могла бы и подумать, написала Робеспьеру, который не смог или не осмелился ответить. Говорят, он любил Люсиль, хотел жениться на ней. Если бы он ответил, можно было бы подумать, что он все еще любит ее. Он дал бы повод, который сильно скомпрометировал бы его.

Все осудили эту осторожность. Человеческое чувство было возмущено. Каждый человек страдал и мучился. Весь народ, без различия партий, высказал одно мнение (одно из тех мнений, которые приносят несчастье): «О, это слишком!»

Что было сделано, подвергнув человеческую душу такой пытке? Была развязана жестокая война против идей, пробуждена против них грозная сила, слепая, зверская и ужасная, дикая чувствительность, которая попирает принципы, которая, чтобы отомстить за кровь, проливает реки крови, которая убила бы целые народы, чтобы спасти отдельных людей^[19].

XXVII

КАЗНИ ЖЕНЩИН — МОЖНО ЛИ КАЗНИТЬ ЖЕНЩИН.

Эти смерти женщин были ужасны. Самая простая политика должна была бы отменить эшафот для женщин. Это убивало Республику.

Смерть Шарлотты Корде, величественной, бесстрашной и спокойной, положила начало религии.

Смерть Дюбарри, вся в дрожи от страха, бедная старая девушка, которая заранее чувствовала смерть в плоти, отступала со всех сил, кричала и давала себя тащить, пробудила все волокна животного сострадания. Нож, как говорили, не входил в ее толстую шею... Все, слушая этот рассказ, содрогались.

Но самым ужасным ударом стала казнь Люсиль. Никто не оставил после себя столько сожаления, ярости, никто не был отомщен так жестоко.

Пусть будет ясно: общество, которое не занимается воспитанием женщин и не контролирует их, — общество обреченное. *Профилактическая* медицина здесь тем более необходима, что *лечебная* практически невозможна. *Против женщин нет никаких серьезных средств воздействия.* Простое заключение в тюрьму уже является сложной задачей: «*Quis custodiet ipsos custodes?*» Они все развращают, все разрушают; нет достаточно прочной ограды. Но показать их на эшафоте, боже мой! Правительство, которое совершает такую глупость, само себя гильотинирует. Природа, которая ставит любовь и продолжение рода выше всех законов, тем самым заложила в женщинах эту тайну (на первый взгляд абсурдную): *они очень ответственны, но не подлежат наказанию.* На протяжении всей Революции я вижу их жестокими, интригантскими, зачастую более виновными, чем мужчины. Но как только их бьют, бьют самих себя. Кто их наказывает, тот наказывает себя. Что бы они ни сделали, как бы они ни выглядели, они разрушают справедливость, уничтожают всякую идею о ней, заставляют ее отрицать и проклинать. Молодых нельзя наказывать. Почему? Потому что они молоды, они — любовь, счастье, плодородие. Старых нельзя наказывать. Почему? Потому что они стары, то есть они были матерями, они остались священными, и их седые волосы похожи на волосы вашей матери. Беременные! Ах! Вот тут бедное правосудие не смеет больше произнести ни слова; ему приходится измениться, унизиться, стать, если понадобится, несправедливым. Здесь есть сила, которая бросает вызов закону; если закон упорствует, тем хуже; он жестоко вредит себе, он выглядит ужасным, безбожным, врагом Бога!

Женщины, возможно, будут протестовать против всего этого; возможно, они спросят, не делает ли отказ в доступе к эшафоту их вечно несовершеннолетними; они скажут, что хотят действовать, нести ответственность за свои поступки. Но что поделать? Это не наша вина, что природа создала их не слабыми, как говорят, а немощными, периодически больными, как природа, так и как личности, дочерьми звездного мира, и поэтому, из-за своих неравенств, отстраненными от многих жестких функций политических обществ. Тем не менее, они оказывают на них огромное влияние, и до сих пор чаще всего фатальное. Это проявилось в наших революциях. Как правило, именно женщины привели их к провалу; их интриги подорвали их, а их смерти (часто заслуженные, всегда неapolитичные) мощно послужили контрреволюции.

Однако следует отметить одно. Если по своему темпераменту, который является страстью, они опасны в политике, то, возможно, они более подходят для управления, чем мужчины. Их сидячий образ жизни и забота обо всем, их естественное стремление удовлетворять, нравиться и радовать делают их отличными клерками. Это можно заметить уже сегодня в почтовом управлении. Революция, которая обновила всё, запустив мужчин в активную карьеру, безусловно, использовала бы женщин в сидячей работе. Я вижу женщину среди сотрудников Комитета общественного спасения. (*Архивы, рукописные протоколы Комитета*, 5 июня 93 г., стр. 79.)

XXVIII

КАТЕРИНА ТЕОТ, МАТЬ БОЖИЯ — РОБСПЬЕР МЕССИЯ. (ИЮНЬ 94 ГОДА).

Настало время фанатизма. Чрезмерные эмоции сломали, унизили, обескуражили разум. Не говоря уже о Вандее, где видели одни чудеса, в Артуа появился Бог. В 94 году там воскресали мертвые. В Лионе пророчица пользовалась большим успехом; сто тысяч душ, как говорят, взяли в руки посох путешественника и отправились в путь, не зная, куда. В Германии бесчисленные секты просветленных распространялись не только среди народа, но и в высших слоях общества: король Пруссии был одним из них. Но ни один человек в Европе не вызывал такого живого интереса у этих мистиков, как удивительный Максимилиан. Разве его жизнь, его возвышение к верховной власти одним только словом не было чудом, и самым удивительным из всех? Ему приходило много писем, в которых его провозглашали Мессией. Некоторые ясно видели на небе *созвездие Робеспьера*. 2 августа 93 года президент якобинцев указал, не называя имени, на *Спасителя, который должен был прийти*. Бесчисленное количество людей вешали его портреты у себя дома, как святые изображения. Женщины, даже генералы, носили маленького Робеспьера в своих грудях, целовали и молились священной миниатюре. Еще более удивительно то, что те, кто видел его постоянно и был ближе к нему, *его святые женщины*, баронесса, госпожа Шалабре (которая помогала ему в полиции), не менее считали его существом иной природы. Они складывали руки и говорили: «Да, Робеспьер, ты Бог».

От небольшого отеля (сносённого), где заседал Комитет безопасности, до Тюильри, где находился Комитет общественного спасения, тянулся тёмный коридор. Туда приходили полицейские, чтобы сдать запечатанные пакеты. Оттуда маленькие девочки несли письма или пакеты к большой поклоннице будущего Спасителя, к этой мадам Шалабре, матери предпринимателя Игр.

Мы уже говорили о старой дуре с улицы Монмартр, бормотавшей перед двумя гипсовыми фигурами: «Боже, спаси Мануэля и Петиона! Боже, спаси Мануэля и Петиона!» И так двенадцать часов в день. Несомненно, в 94 году она столько же часов бормотала за Робеспьера.

Горький цевенолец Рабо-Сен-Этьен очень хорошо указал, что эти смешные бормотания, это окружение благочестивых людей, это терпение Робеспьера, с которым он их терпел, были уязвимым местом, ахиллесовой пятой, где можно было пробить героя. Жирей-Дюпре в остроумной и шутливой рождественской песне ударил по этому месту, но мимоходом. Разве не это было темой комедии Фабра д'Эглатина, которую заставили исчезнуть, и из-за которой, возможно, исчез сам Фабр?

Однако для формулирования обвинения требовался факт, случай, который можно было бы использовать. Робеспьер сам его предоставил.

Своим полицейским инстинктом, неутомимо ищущим факты против своих врагов, против Комитета безопасности, который он хотел разгромить, он охотно рылся в картотеках этого Комитета. Там он нашел, взял и унес документы, касающиеся герцогини Бурбонской, и отказался их вернуть. Это вызвало любопытство. Комитет раздобыл их копии и увидел, что это дело, столь дорогое Робеспьеру, было делом иллюминатов.

Какой тайный мотив заставлял его покрывать *иллюминатов*, препятствовать расследованию их дела?

Эти секты никогда не были безразличны к политике. Герцог Орлеанский был тесно связан с масонами и тамплиерами, великим магистром которых, как говорят, он был. Янсенисты, ставшие в условиях преследования тайным обществом, благодаря необычайному мастерству, с которым они организовывали таинственную рекламу «Церковных новостей», заслужили особое внимание якобинцев. Изобретательная картина, раскрывавшая этот механизм, была единственным украшением библиотеки якобинцев в 1790 году. С 89 по 91 год Робеспьер жил на улице Сентонж в Марэ, недалеко от улицы Турен, у самых ворот святилища, где эти фанатики умирающего янсенизма совершали свои последние чудеса; главным чудом было распятие женщин, которые, сходя с креста, ели еще лучше. После Террора было легко предсказать бурное возрождение фанатизма. Но кто от этого выиграет?

В замке герцогини проповедовал один из последователей, картезианец дон Жерль, коллега Робеспьера в Учредительном собрании, который поразил Ассамблею, попросив, как будто это было само собой разумеющимся, объявить католицизм государственной религией. В то же время дон Жерль хотел, чтобы Ассамблея провозгласила истинность пророчеств сумасшедшей девушки Сюзанны Лабрусс. Дон Жерль по-прежнему поддерживал связи со своим бывшим коллегой, часто навещал его, почитал как своего покровителя и, несомненно, чтобы угодить ему, также жил у плотника. Он получил от него справку о гражданской добродетельности.

Будучи хорошим республиканцем, картезианец не переставал быть пророком. На чердаке в Латинском квартале ему вдохновляла мысли старая женщина-идиотка, которую называли Матерью Божьей. Катрин Тео (так звали ее) в своих тайнах помогали две молодые очаровательные женщины, брюнетка и блондинка, которых называли *Певницей* и *Голубкой*. Они привлекали на чердак много посетителей. Туда приходили роялисты, магнетизеры, простые люди, мошенники, глупцы. До какой степени такой серьезный человек, как Робеспьер, мог быть вовлечен в эти глупости, неизвестно. Известно только, что у старухи было три кресла: белое, красное и синее; она сидела в первом, ее сын дон Жерле — во втором слева; а для кого было третье, почетное кресло справа от Матери Божьей? Разве не для старшего сына, *Спасителя, который должен был прийти?*

Как бы смешно это ни было само по себе, и как бы ни хотелось показать это в таком свете, здесь можно обнаружить две вещи, свидетельствующие о попытке грубого соединения христианского иллюминизма, революционного мистицизма и установления правительства пророков.

«Первой печатью Евангелия было провозглашение Слова; второй — отделение культов; *третьей — Революция*; четвертой — *смерть королей*; пятой — объединение народов; шестой — борьба ангела-истребителя; седьмой — воскресение избранных Матери Божьей и всеобщее счастье *под надзором пророков*».

«В день воскресения, где будет Мать Божья? На своем троне, *между своими пророками*, в Пантеоне».

Шпион Сенар, который вступил в их ряды, чтобы предать их, и арестовал их, сказал, что нашел у Матери письмо, написанное от ее имени Робеспьеру как ее первому пророку, сыну Высшего Существа, Искупителю, Мессии.

Два гасконца, Баррер и Вадье, которые вместе совершили злонамеренный поступок, представив отчет, который комитеты направили в Конвент, включили в него (как ингредиенты в котле шаббата) совершенно посторонние вещи; я не знаю, какой портрет, например, маленького Капета, который был найден в Сен-Клу. Это дало повод говорить в отчете о роялизме, о восстановлении королевской власти. Сбитая с толку Ассамблея сначала не знала, чему верить. Постепенно она поняла. Под мрачным и унылым тоном Вадье она почувствовала мощную комичность этой шутке. Шутка из уст серьезного человека часто вызывает неконтролируемый хохот. Эффект был настолько сильным, что даже под ножом гильотины, в огне, в мучениях Ассамблея смеялась бы так же. Люди корчились от смеха на скамьях.

В порыве энтузиазма было решено, что этот доклад будет разослан в сорок четыре тысячи коммун Республики, во все администрации, в армию. Тираж, возможно, в сто тысяч экземпляров!

Ничто так прямо не способствовало падению Робеспьера.

XXIX

ДАМЫ СЕН-АМАРАНТ (ИЮНЬ 94).

Это дело о Матери Божьей осложнилось еще одним обвинением, гораздо менее заслуженным, которое было предъявлено Робеспьеру.

Безосновательно предполагалось, что апостол якобинцев искал прозелитов даже в игровых домах, учеников среди дам, принимавших игроков.

На самом деле злонамеренно и клеветнически перепутали старшего Робеспьера и младшего, который посещал эти заведения.

Младший Робеспьер, адвокат, легкомысленный и вульгарный оратор, светский человек, любитель удовольствий, не достаточно понимал, насколько высокая и страшная репутация его брата требовала осторожности. В своих миссиях, где его имя давало ему очень важную и сложную роль, он слишком мало следил за собой. Его видели повсюду, даже в клубах, в компании очень сомнительной женщины.

В силу своей молодости и добросердечности он горячо надеялся, что его брат сможет смягчить Революцию. Он не скрывал этой надежды, не учитывая в достаточной мере препятствия и задержки, которые откладывали этот момент. В Провансе он проявил гуманность, пощадил коммуны Жиронды. В Париже он имел мужество спасти нескольких человек, в том числе директора экономического управления духовенства (который позже стал тестем Жофруа-Сен-Илера).

В порыве своего антитеррористического рвения он иногда заставлял замолчать и унижал ярых патриотов, которые безоговорочно выступили в поддержку революции. В Юре, например, он величественно заставил замолчать представителя Бернара де Сентса. Эта очень впечатляющая сцена вселила в контрреволюционеров Юры безграничную уверенность. Они легкомысленно говорили (один из них, Нодье, передает): «Мы находимся под защитой господ де Робеспьеров».

В Париже молодой Робеспьер часто бывал в чрезвычайно подозрительном доме в Палле-Рояле, напротив самой лестницы, на углу улицы Вивьен, в бывшем отеле «Хельвеций». Лестница, как известно, была центром спекулянтов, биржевых махинаторов, торговцев золотом и ассигнациями, торговцев женщинами. Вокруг были роскошные игорные дома, посещаемые аристократами. Я уже рассказывал, как все старые партии, по мере своего распада, приходили умирать туда, между девушками и рулеткой. Там закончили свои дни члены Учредительного собрания, Талейран, Шапле. Там прозябали орлеанисты. Многие из Жиронды приходили сюда. Молодой Робеспьер, избалованный своими княжескими миссиями, также любил находить здесь остатки старого общества.

Дом, где он играл, принадлежал двум очень симпатичным роялистским дамам: семнадцатилетней дочери и матери, которой не было и сорока лет. Мадам де Сен-Амарант, по ее словам, вдова телохранителя, убитого 6 октября, вышла замуж за своего сына в известную полицейскую семью, за молодого Сартин, сына министра де Помпадура, которого увековечил Латюд.

Мадам де Сен-Амарант, не особо скрываясь, оставляла на виду у игроков портреты короля и королевы. Этот знак роялизма не вредил дому. Богатые оставались роялистами. Но эти дамы заботились о том, чтобы иметь высокопоставленных патриотических покровителей. Маленькая Сент-Амарант была очень любима якобинцем Дефье, агентом Комитета безопасности (когда этот комитет был под руководством Шабо), близким другом Проли, с которым он делил комнату, другом Юниуса Фрея, знаменитого патриота-банкира, который выдал свою сестру замуж за Шабо. Все это выяснилось на процессе Дефье, утонувшего вместе с Проли, в деле гебертистов.

Дефье был казнен вместе с Эбером 24 марта, и Сен-Жюст передал записку против дома, который он часто посещал, в Комитет безопасности, который 31 марта арестовал Сен-Амарант и Сартин. (*Архивы, Комитет безопасности, реестр 642, 10 герминаля*).

Но молодой Робеспьер, как и Дефье, был другом этого дома; это, без сомнения, и стало причиной того, что дамы провели в тюрьме довольно долгое время без суда. Комитет безопасности, к которому он должен был обратиться, чтобы добиться отсрочки, был осведомлен об этом деле. У него был козырь, оружие против своего врага. Прекрасная добыча! Умело все устроив, Робеспьер мог предстать покровителем игорных домов!

Робеспьер? Какой из двух? Никто не осмелился назвать *молодого*. Это лишило бы дело всей его ценности.

Вскоре он был предупрежден, несомненно, самим братом, который сознался. Он увидел пропасть и задрожал.

Он пошел в комитеты? Или комитеты послали его? Неизвестно. Известно только, что вечером 25 прайриала (14 июня) между ним и ними произошло две ужасные вещи.

Он подумал, что дело безнадежно, что его сопротивление только усугубит последствия, что нужно воспользоваться ситуацией, чтобы получить от комитетов в обмен на эту тщетную радость злобы новую власть, которая, возможно, поможет ему нанести удар по комитетам, а в любом случае — сделать решительный шаг на пути к судебной диктатуре.

Поэтому, когда старый Вадье сказал ему наблюдательным тоном: «Завтра мы делаем отчет по делу Сен-Амаранта», он высказал несколько возражений, мягко и менее решительно, чем ожидалось.

Все считали, что Робеспьер связан с Сен-Амарантами, которых, по всей видимости, он даже не знал. Неправдоподобность этой истории никого не остановила. То, что этот мрачный, суровый человек, столь жестоко взволнованный, упорно следующий своему трагическому судьбе, ушел, как Баррер, маркиз Террора, чтобы развлечься в таком доме, в компании дам с такой репутацией, было сочтено естественным! ... Яростная легковёрность закрывала глаза на это.

Однако было страшно, что справедливость и здравый смысл вновь пробудятся, что некоторые поймут одну простую вещь: есть два Робеспьера.

В июне с большим шумом и невероятным размахом состоялась торжественная казнь предполагаемых *убийц Робеспьера*, среди которых были и Сен-Амаранты.

Драма казни, поставленная с необычайной тщательностью и эффектностью, представила пятьдесят четыре человека, все одетых в одежду, которую до этого носила только Шарлотта Корде, — зловещую красную рубашку отцеубийц и тех, кто убивал отцов народа, представителей. Процессия шла три часа от Консьержерии до площади Революции, а казнь длилась один час.

Таким образом, в течение этой длинной четырехчасовой выставки народ мог смотреть, считать, узнавать, рассматривать *убийц Робеспьера*, узнавать всю их историю.

За телегами следовали пушки и целая армия солдат. Это было грандиозное и внушительное зрелище, которого не видели со времени казни Людовика XVI. «Что же! Все это, говорили люди, для того, чтобы отомстить за одного человека! А что бы было, *если бы Робеспьер был королем?*»

Было пять или шесть красивых женщин и три совсем молодые. Именно на это народ смотрел и не мог смириться; вокруг этих очаровательных женщин были их семьи, Сен-Амарант со всеми своими, Рено со всеми своими, на каждой повозке разыгрывалась целая трагедия, слёзы и взаимные сожаления, душераздирающие призывы друг к другу. Мадам Сен-Амарант, сначала гордая и решительная, в любой момент могла потерять сознание.

Актриса из труппы «Итальянцы», мадемуазель Грандмезон, привлекала к себе всеобщее внимание. Бывшая любовница Сартина, который женился на молодой Сен-Амарант, она оставалась ему верна. Ради него она потеряла себя. Они сидели там вместе, в одной повозке, две несчастные, ставшие сестрами в смерти и умирающие в одной любви.

Среди толпы ходил ужасный слух, что Сен-Жюст хотел заполучить молодую Сен-Амаранту и что из ревности и ярости он донес на нее.

То, что Робеспьер таким образом бросил Сен-Амарант, которых считали его последователями, вызвало огромное удивление.

В этом деле, казалось, сошлись все условия ужаса и смеха. Комитет безопасности, который устроил все это в своей ужасной драме, смешав правду с ложью, превзошел и комедию, и трагедию, поразив всех великих мастеров. Неизменный и безупречный, застигнутый в тайном шаге такой ловкой гимнастики, обнаженный между двумя масками, он стал такой лакомой пищей для злобы, что все поверили, все проглотили, ни слова не упустив. Философ у столяра, мессия старых улиц Сен-Жак, в Пале-Рояле покровитель азартных игр! Сочетать эти три роли под бледным лицом безжалостного цензора! Шекспир был унижен, Мольер побежден; Тальма, Гаррик были ничто по сравнению с ним.

Но когда в то же время задумывались о подлом эгоизме, который выдвигал вперед своих и бросал их! О бесконечной осторожности этого мессии, этого спасителя, который спасал только себя, оставляя своих апостолов Иуде с Марией Магдалиной, чтобы они были распяты вместо него! О, ярость презрения переполняла все души!

Вчера диктатор, папа и бог... сегодня несчастный Робеспьер катился в позор.

Таково было резкое, жгучее и быстрое впечатление клеветы на хорошо подготовленные души. Всю свою жизнь он пользовался неопределенными обвинениями. Казалось, что в последний день они вернулись к нему в виде черного потока кровавой грязи...

Утром разносчики, поднимая ужасающий шум, вопия о *святой гильотине*, *пятьдесят четыре человека в красных плащах, убийцы Робеспьера*, еще громче выкрикивали «*Тайны Богородицы*». Под этим названием летала рой маленьких памфлетов, миллионы укусивших мух, рожденных в час бури. Эти разносчики, маратисты, гебертисты, все еще скорбящие о своих боссах, адскими криками рекламировали чудовищный доклад, уже напечатанный по указу тиражом почти в сто тысяч экземпляров.

Их не оставляли в покое. Но ничего не помогало. Борьба великих держав велась на их спинах. Коммуна Робеспьера смело их арестовывала. Но Комитет безопасности тут же их отпускал. От этого они становились только более дикими, более яростными в своих криках. От Ассамблеи до якобинцев и до дома Дюпле, напротив Успения, вся улица Сен-Оноре вибрировала от их криков: от них дрожали стекла. *Великий гнев Отца Дюшена*, казалось, вернулся в их тысяче безумных ртов и кривых уст.

XXX

РАВНОДУШИЕ К ЖИЗНИ — БЫСТРЫЕ ЛЮБОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ТЮРЬМАХ (93-94).

Расточительность смертной казни произвела свой обычный эффект: поразительное безразличие к жизни.

Террор в целом был лотереей. Он ударял наугад, очень часто промахивался. Таким образом, он не достигал своей цели. Эта огромная жертва усилий и крови, это ужасное накопление ненависти были напрасными. Смутно, инстинктивно чувствовалась бесполезность того, что делалось. Отсюда происходило большое уныние, быстрая и пагубная деморализация, своего рода моральная холера.

Когда моральный дух ломается, происходят две противоположные вещи. Одни, решившие жить любой ценой, устраиваются в грязи. Другие, из скуки, от отвращения, идут навстречу смерти или, по крайней мере, больше не бегут от нее.

Это началось в Лионе; слишком частые казни притупили чувствительность зрителей; один из них, возвращаясь, сказал: «Что я сделаю, чтобы меня гильотинировали?» Пять заключенных в Париже сбежали от жандармов; они просто хотели еще раз сходить в театр Водевиль. Один из них возвращается в суд: «Я не могу найти остальных. Не могли бы вы сказать мне, где наши жандармы? Дайте мне информацию».

Подобные признаки слишком явно свидетельствовали о том, что террор окончательно изжил себя. Это противоестественное усилие больше не могло продолжаться. Природа,

всемогущая, неукротимая природа, которая нигде не прорастает так энергично, как на могилах, вновь торжествовала, принимая тысячи неожиданных форм. Война, террор, смерть, все, что казалось против нее, приносило ей новые триумфы. Женщины никогда не были так сильны. Они размножались, все перемешивали. Жестокость закона делала слабости милосердия почти законными. Они смело говорили, утешая заключенного: «Если я не буду добра сегодня, завтра будет слишком поздно». Утром можно было встретить милых молодых безбородых юношей, мчавшихся на кабриолетах, это были женщины, которые умоляли, бегали за власть имущими того времени. Оттуда — в тюрьмы. Милосердие вело их далеко. Утешительницы снаружи или заключенные внутри, ни одна из них не спорила. Для последних беременность была шансом на жизнь.

Одно слово повторялось без конца, использовалось во всем: *природа!* Следуйте природе! Отдайтесь природе и т. д. В 95 году это слово сменилось словом «жизнь»: «Проживем жизнь!... Пропустить жизнь» и т. д.

Люди дрожали от страха упустить ее, хватали ее на лету, экономили ее крохи. Они крали у судьбы все, что могли украсть. Никаких воспоминаний о человеческом уважении. В этом смысле плен был полным освобождением. Серьезные мужчины и женщины предавались безумным парадом, насмешкам над смертью. Их любимым развлечением было предварительное повторение высшей драмы, примерка последнего наряда и изящества гильотины. Эти мрачные парады сопровождались смелыми демонстрациями красоты; люди хотели, чтобы смерть пожалела о том, что она собиралась сделать. Если верить одному роялисту, великие дамы, сидя на неустойчивых стульях, рисковали заниматься этой гимнастикой. Даже в мрачной Консьержерии, куда приходили почти исключительно умирать, трагические и священные ворота, свидетели мужественных проповедей мадам Ролан, в определенные часы часто были свидетелями гораздо менее серьезных сцен; ночь и смерть хранили тайну.

Так же как ассигнативы, не вызывавшие никакого доверия, ускоряли сделки, так и человек, не более надежный, чем бумага, связи обострялись, разрывались, восстанавливались с необычайной подвижностью. Существование, так сказать, испарилось. Больше ничего твердого, все жидкое, и вскоре исчезнувшее газ.

Лавуазье только что сформулировал и доказал великую современную идею: твердое, жидкое и газообразное — три формы одного и того же вещества.

Что такое физический человек и жизнь? Отвердевший газ[20] .

XXXI

КАЖДАЯ ПАРТИЯ ГИБНЕТ ИЗ-ЗА ЖЕНЩИН.

Если женщины с самого начала придали новый импульс революционному энтузиазму, то, с другой стороны, под влиянием слепой чувствительности, они довольно рано способствовали реакции и, даже когда их влияние было наиболее значительным, часто готовили гибель партий.

Лафайет, благодаря своей бескорыстности, подражанию Америке, дружбе с Джефферсоном и т. д., мог бы достичь больших высот. Его остановило прежде всего влияние льстивых женщин, которые его окружали, в том числе и его собственной жены, чья кажущаяся покорность, боль и добродетель сильно повлияли на его сердце. В ней он находил мощного

защитника королевской власти, мощного своими безмолвными слезами. Она не могла утешиться, видя, как ее муж становится тюремщиком короля. Родившаяся Ноай, она вместе со своими родственниками жила почти исключительно в монастыре Мирамионес, одном из главных очагов роялистского фанатизма. В конце концов она сбежала в Овернь и бросила своего мужа, который постепенно стал защитником королевской власти.

Победители Лафайета, жирондисты, были, как мы видели, также серьезно скомпрометированы женщинами. Мы уже перечисляли в другом месте смелые опрометчивые поступки мадам Ролан. Мы видели, как гений Верньо засыпал и нервничал под слишком мягкие звуки арфы мадемуазель Кандей.

Робеспьер, ложно обвиненный в легкомыслии своего брата, был справедливо обвинен в фетишистском культе, объектом которого он позволил себе стать, в смешном поклонении, которым окружали его его преданные поклонники. Дело Екатерины Тео действительно стало для него смертельным ударом.

Если мы перейдем от республиканцев к роялистам, то заметим то же самое. Неосторожность королевы, ее жестокость и ошибки, ее отношения с иностранцами более всего способствовали ускорению гибели королевской власти.

Женщины Вандеи с самого начала работали над подготовкой и развязыванием гражданской войны. Но слепая ярость их рвения была также одной из причин, приведших к ее провалу. Их упорство в следовании за большой армией, перешедшей Луару в октябре 93 года, больше всего способствовало ее парализации. Самый способный из вендеенцев, г-н де Боншам, надеялся в отчаянии на силы, которые он даст, когда, покинув свой форт, свой глубокий Бокаж, и выйдя на открытую местность, Вендея промчится по Франции, чьи силы находились на границах. Этот бег на оленьих ногах требовал быстроты, ужасающего импульса, энергичного решения людей и солдат. Боншам не учел, что десять или двенадцать тысяч женщин примкнут к вендеям и будут увезены с ними.

Они считали слишком опасным оставаться в стране. Будучи авантюристами по натуре, с тем же энтузиазмом, с которым они начали гражданскую борьбу, они также хотели испытать свою судьбу. Они поклялись, что будут бежать быстрее и лучше мужчин, что дойдут до конца света. Одни из них были оседлыми женщинами, другие — монахинями (как аббатиса Фонтевро), и все они с радостью принимали неизвестность крестового похода, свободной и воинственной жизни. И почему же революция, с которой так плохо боролись мужчины, не могла быть побеждена женщинами, если бы Бог того захотел?

Тетю одного из моих друзей, до тех пор бывшую благочестивой монахиней, спросили, на что она надеется, следуя за этой большой беспорядочной армией, где ее поджидали многие опасности. Она ответила воинственно: «Напугать Конвент».

Многие женщины Вандеи верили, что менее страстные мужчины могут нуждаться в поддержке и подбадривании их энергией. Они хотели заставить своих мужей и любовников идти вперед, придать мужества своим священникам. При переправе через Луару лодок было мало, и они, ожидая, использовали время для исповеди. Священники слушали их, сидя на холмах на берегу. Операция была сорвана несколькими случайными выстрелами республиканской артиллерии. Один из исповедников убежал... Его кающаяся догнала его:

«Эй, отец! Отпущение грехов!» — «Ах, дочь моя, ты его получила». — Но она не отпустила его: удерживая за сутану, она заставила его остаться под обстрелом.

Несмотря на всю свою бесстрашность, эти дамы все же доставили армии большие неудобства. Помимо пятидесяти карет, в которых они были скучены, были еще тысячи, ехавших на телегах, верхом, пешком, всеми возможными способами. Многие тащили с собой детей. Некоторые были беременны. Вскоре они обнаружили, что мужчины изменились по сравнению с тем, какими они были при отправлении из Вендеи. Добродетели вендеенца были связаны с его привычками; вне своего дома он оказался деморализованным. Его доверие к своим вождям, к своим священникам исчезло; он подозревал первых в желании бежать, сесть на корабль. Что касается священников, то их споры, коварство епископа Агры, интриги Бернье, их до сих пор скрытые нравы — все казалось циничным. Армия потеряла веру в них. Не было середины: вчера еще набожные, сегодня внезапно усомнившиеся, многие больше ничего не уважали.

Женщины Вендеи жестоко поплатились за свою роль в гражданской войне. Не говоря уже о последующих утоплениях, сразу после битвы при Ле-Мане около тридцати женщин были немедленно расстреляны. Многие другие, правда, были спасены солдатами, которые, взявшись под руку за дрожащих дам, вытащили их из драки. Столько, сколько смогли, спрятали в семьях города. Марсо, в своем кабриолете, спас девушку, которая потеряла всех своих близких. Она мало заботилась о жизни и не сделала ничего, чтобы помочь своему спасителю; она была осуждена и погибла. Некоторые вышли замуж за тех, кто их спас; эти браки закончились плохо; неумолимая горечь скоро вернулась.

Молодой служащий из Ле-Мана по имени Губен в вечер битвы нашел бедную девушку, прявшуюся под дверь и не знавшую, куда идти. Сам будучи чужаком в городе и не зная ни одного безопасного дома, он привел ее к себе домой. Эту несчастную, дрожащую от холода или страха, он уложил в свою постель. Будучи маленьким клерком с зарплатой в шестьсот франков, он имел кабинет, стул, кровать и ничего больше. Восемь ночей подряд он спал на стуле. Устав и заболевая, он попросил ее и получил разрешение спать рядом с ней, не снимая одежды. Излишне говорить, что он был тем, кем должен был быть. Счастливый случай позволил девушке вернуться к родителям. Оказалось, что она была богата, из знатной семьи и (что самое удивительное) обладала хорошей памятью. Она передала Губену, что хочет выйти за него замуж: «Нет, мадемуазель, я республиканец, синие должны оставаться синими!»

XXXII

РЕАКЦИЯ ЖЕНЩИН В ПОЛОВИНУ ВЕКА ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ.

После 9 термидора реакцию ускорило несколько факторов:

чрезмерная напряженность революционного правительства, усталость от порядка вещей, который требовал самых тяжелых жертв от разума и сердца. Огромным был порыв слепого, непреодолимого сострадания.

Неудивительно, что женщины были главными проводниками реакции.

Намеренная небрежность в одежде, перенятие народного языка и обычаев, *неряшливость* того времени были заклеимены как цинизм. На самом деле, республиканские власти, в своей

растущей строгости, были единодушны в том, чтобы в качестве гарантии гражданственности навязать строгость нравов.

Моральная *цензура* осуществлялась не только магистратами, но и народными обществами. Не раз в Коммуну и к якобинцам поступали иски о супружеской неверности. И те, и другие решили, что аморальный человек *является подозрительным*. Серьезное и зловещее обозначение, которое тогда вызывало больше страха, чем любое наказание!

Ни одно правительство не преследовало публичных женщин так жестоко.

Отсюда и помощь матерям-одиночкам, о которой так много говорили. На самом деле, если девушкам, которые сошли с пути истинного, не помогают, они в большинстве своем становятся публичными женщинами. Брошенный ребенок попадает в больницу, то есть умирает.

Балы и игры (тогда синонимы публичных домов) практически исчезли.

Салоны, где женщины так блистали до 92 года, закрылись до 93 года.

Женщины считали себя уничтоженными. При этом жестоком правительстве они были бы только женами и матерями.

9 термидора напряжение ослабло. В тот же день началось беспрецедентное буйство, яростная вакханалия.

В долгом путешествии, которое заставили проделать Робеспьера, чтобы отвести его на эшафот, самым ужасным было зрелище окон, снятых в аренду по любой цене. Неизвестные лица, которые долгое время скрывались, вышли на солнце. Мир богачей и девушек красовался на этих балконах. Воспользовавшись этой бурной реакцией общественного мнения, их ярость осмелилась проявиться. Женщины, в особенности, представляли собой невыносимое зрелище. Наглые, полуобнаженные, под предлогом июля, с горлом, усыпанным цветами, облокотившись на бархат, наклонившись наполовину над улицей Сен-Оноре, с мужчинами позади, они кричали пронзительным голосом: «Смерть! На гильотину!» В тот день они смело вернулись к своим роскошным нарядам, а вечером *ужинали*. Никто больше не сдерживался.

Де Сад вышел из тюрьмы 10 термидора.

Когда траурная процессия прибыла к церкви Успения Пресвятой Богородицы, перед домом Дюпле, актрисы устроили сцену. Фурии танцевали в кругу. Там был ребенок с ведром бычьей крови; он бросал капли на дом с помощью метлы. Робеспьер закрыл глаза.

Вечером те же самые вакханки побежали в Сент-Пелажию, где находилась мать Дюпле, крича, что они вдовцы жертв Робеспьера. Они заставили испуганных тюремщиков открыть им двери, задушили старуху и повесили ее на карнизе занавесок.

Париж снова стал очень веселым. Правда, был голод. На всем Западе и Юге свободно убивали. Дворец Рояль был переполнен игроками и девушками, а полуобнаженные дамы заставляли стыдиться публичных проституток. Затем открылись *балы жертв*, где бесстыдная похоть катилась в оргии своего ложного траура.

Чувствительный человек, стоная, спекулировал на ассинатах и национальном имуществе. *Черная банда* горячо оплакивала родителей, которых у нее никогда не было. Маркизы и графини, актрисы-роялистки, смело возвращаясь во Францию, выходя из тюрем или своих

укрытый, без пощады трудились над роялизацией Террора; они обнимали террористов, очаровывали термидорианцев, подталкивали их к убийствам, затачивали им ножи, чтобы пролить кровь Республики. Многие горцы, Tallien, Bентаболе, Rovère, , вступили в брак с аристократами. Мясник Legendre, долгое время лежавший как выпотрошенный бык, вдруг снова стал страшным под влиянием Contat; эта злая Сюзанна из «*Фигаро*» Бомарше закинула петлю на быка и бросила его, опустив рога, на якобинцев.

Нам не нужно рассказывать об этих вещах. Все это уже не Революция. Это начало долгой Реакции, которая длится уже полвека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной недостаток этой книги в том, что она не соответствует своему названию. В ней не рассказывается о женщинах Революции, а лишь о нескольких героинях, нескольких более или менее известных женщинах. В ней говорится о таких ярких добродетелях. Она умалчивает о мире неизвестных жертв, тем более достойных, что слава их не поддержала.

Кем были женщины в 89 году, в бессмертную зарю, кем они были в середине 90 года, в священный час Федерации, с каким сердцем они воздвигли алтарь будущего! — наконец, в начале 92 года, когда пришлось вырвать это сердце и отдать все, что любили! Кто мог бы рассказать об этом? Мы предприняли попытку дать об этом некоторое представление в другом месте, но как неполно!

В течение десяти лет, которые стоила эта историческая работа, мы пытались в нашей кафедре Колледжа Франции вернуться к этим важным темам влияния женщины и семьи и углубить их.

В 1848 году мы особо указывали на инициативу, которую женщина должна была проявить в наших новых условиях. Мы говорили Республике: вы не сможете основать государство без моральной реформы семьи. Потрясенная семья укрепитя только у нового очага, основанного Революцией.

К чему привели все эти усилия? И что стало с этими словами? Где эта благожелательная, сочувствующая аудитория?

Должна ли я сказать, как старый Вийон: «Где снега прошлого года?».

Но хотя бы стены помнят, зал, который дрожал от мощного голоса Кине, свод, где я видел, как пророческие слова Мицкевича выгравированы огненными буквами...

Да, я говорил женщинам: никто больше вас не заинтересован в государстве, поскольку никто больше вас не несет бремя общественных бедствий.

Мужчины отдают свою жизнь и свой пот. Вы отдаете своих детей.

Кто платит налог кровью? Мать.

Именно она вкладывает в наши дела самую большую, самую страшную ставку.

Кто, кроме вас, имеет право, обязанность окружать себя светом в таком вопросе, полностью посвятить себя судьбе Родины?

Женщины, читающие эту книгу, не отвлекайтесь на разнообразные анекдоты из этих биографий. Внимательно посмотрите на первые и последние страницы.

Что вы видите на первых страницах?

Чувствительность, сердце, сочувствие к страданиям человечества подтолкнули вас в 89 году к революции. Вы пожалели мир и поднялись до такой степени, что пожертвовали даже семьей.

А как заканчивается книга?

Опять же чувствительность, жалость и отвращение к кровопролитию, тревожная любовь к семье — все это больше всего способствовало тому, что вы вступили в ряды реакционеров.

Ужас крови. И Белый террор в 95-м, в 1815-м пролил больше крови убийствами, чем 93-й эшафотами.

Любовь к семье. Ради ваших сыновей, ради их жизни и спасения вы отреклись от идеи 92 года, от освобождения мира. Вы искали убежища под защитой силы. Что стало с вашими сыновьями? Каким бы ребенком я ни был тогда, моя память верна: до 1815 года вы все не были в трауре?

Обманула ли вас ваша душа в 89 году, когда она обняла мир? Будущее скажет «нет». Но то, что она обманула вас в реакции того времени, когда вы пожертвовали миром ради семьи, чтобы потом увидеть, как семья и Европа засеяны костями ваших детей, не вызывает сомнений: прошлое вам это показало.

Еще одна вещь должна выйти для вас из этой книги.

Сравните, пожалуйста, жизнь ваших матерей и вашу, их полную и сильную жизнь, плодотворную делами, благородными страстями. А затем посмотрите, если сможете, на пустоту и скуку, на томление, в котором проходят ваши дни. Какова была ваша доля, ваша роль в этом жалком полувеке реакции?

Хотите, я откровенно скажу вам, откуда берет начало эта разница?

Они любили сильных и живых. Вы же любите мертвых.

Я называю живыми тех, чьи поступки и дела обновляют мир, тех, кто, по крайней мере, приводит его в движение, оживляет своей деятельностью, кто плывет вместе с ним, дыша большим дыханием, которое наполняет парус века, и чье слово: *Вперед!*

А мертвые? Я называю так, мадам, бесполезного человека, который развлекает вас в двадцать лет своей легкомысленностью, опасного человека, который ведет вас в сорок лет по пути благочестивых интриг, который питает вас мелочностью, бесцельным волнением, бесплодной скукой.

Что же! Пока живой мир, о котором вам не дают знать, пока ослепительный современный гений в своем ужасающем плодородии умножает свои чудеса с каждой минутой и каждым часом, пар и электри дагерротип, железная дорога, электрический телеграф (где сейчас будет сознание всего мира), все механические и химические искусства, их блага, их

бесконечные дары, излитые на вас без вашего ведома (вплоть до платья, которое вы носите, плод труда двадцати наук!), во время этого чудесного движения жизни, запереть себя в гробнице!

Тратить себя на спасение того, что не спасти!

Если вы любите средневековье, послушайте это пророческое слово, которое я переведу из одной из его песен, из старой *прозы*, комичной и возвышенной:

Новое уносит старое,
Тень прогоняется светом,
День прогоняет ночь...
.....
На колени! И скажи: Аминь!...
Хватит питаться травой и сеном...
Оставь старые вещи... И иди!...

Дочери долгого мира, который длится с 1815 года, хорошо осознайте свое положение.

Видите ли вы там все эти черные облака, которые начинают разрываться? А под вашими ногами слышите ли вы треск земли, грохот подземных вулканов, стоны природы?...

Ах, этот тяжкий мир, который был для вас временем томления и грез, для целых народов был кошмаром угнетения. Он заканчивается... Я знаю ваши сердца, благодарите Бога, который снимает тяжелый свинцовый печать, под которой задышался мир.

Это благополучие, в котором томилась ваша слабость, должно было закончиться. Чтобы говорить только об одной опасности, кто не видел приближения варварской алчности Севера, русского очарования, византийской хитрости, подталкивающей на Запад жестокость казаков?

Забудьте, забудьте, что вы были дочерьми мира. Сейчас вы находитесь в том же высоком и сложном положении, в котором были ваши матери в дни великих сражений. Как они выдержали эти испытания? Пришло время вам спросить об этом.

Они не только приняли жертву, они полюбили ее, они пошли ей навстречу.

Судьба, необходимость, которые, как они думали, напугают их, пришли к ним с мечами в руках, но застали их сильными и улыбающимися, без слабых жалоб, без оскорблений смерти.

Судьба испытала их еще больше. Она поразила то, что они любили... И там она снова нашла их еще более великими, и они говорили под своими траурами: «Смерть!... но бессмертная смерть!»

На это многие из вас скажут, я слышу вас отсюда: «И мы тоже будем сильными!... Придут испытания и опасности! Великие кризисы всегда застанут нас готовыми. Мы не будем ниже».

К опасности? Да, возможно; но к лишениям? К длительным изменениям в положении, привычках? Вот в чем сложность, вот в чем препятствие для такого благородного сердца!...

Проститься с роскошной, изобильной жизнью, страдать, поститься — согласны, если понадобится. Но отречься от этого мира элегантных бесполезностей, которые, в соответствии с нашими нравами, кажутся поэзией женщины!... Ах, это слишком тяжело! Многие предпочли бы умереть!

В так называемые *счастливые* годы, которые привели к 1848 году, когда моральный горизонт так потемнел, когда тяжелая жизнь, не поднимаемая ни надеждой, ни испытаниями, опускалась на себя, я часто искал в себе, что еще осталось, какой шанс на обновление.

Окруженный этой толпой, в которую многие верили, более чем кто-либо другой подверженный пугающим признакам упадка поздней империи, я с тревогой оглядывался вокруг. Что я видел перед своей кафедрой? Блестящую молодежь, очаровательную, симпатичную аудиторию, самую проницательную из всех, что когда-либо были. Преданную идею? Ах, многие доказали это! Но для многих препятствием было избыточное образование, бесконечное любопытство, подвижность ума, мимолетная любовь к той или иной системе, слабость к изобретательным утопиям, обещающим гармоничный мир без борьбы и конфликтов, который, сделав ненужными любые лишения, лишил бы нас необходимости в жертвах и поводов для самоотверженности.

Жертвование — это закон этого мира. Кто пожертвует собой?

Такой вопрос я с грустью задавал себе.

«Боже, дай мне точку опоры! — говорил философ, — я возьму на себя сдвиг земного шара!»

Никакой другой опоры, кроме готовности к жертвованию.

Достаточно ли для этого долга? Нет, нужна любовь.

«Кто еще любит?» Это второй вопрос, который должен был задать себе моралист.

Неуместный вопрос? Вовсе нет, в мире льда, растущих интересов, эгоизма, политических интриг, банков, бирж, которые, как нам кажется, окружают нас.

«Кто любит? (Природа дала мне этот ответ.) Кто любит? Это женщина.

«Любовью она любит один день. Материнством — всю жизнь».

Итак, я обратился к женщине, к матери, с большой социальной инициативой[21].

Добрый Балланш, среди всех своих мрачных мистических романов, иногда имел озарения, истинные интуиции. Однажды, чтобы затруднить его, мы задали ему вопрос: «Что, по вашему мнению, такое женщина?» Он некоторое время мечтал. Его мягкие глаза заблудшей лани были еще более дикими, чем обычно. Наконец старик покраснел, как девушка, услышавшая слова любви: «Это посвящение».

Очаровательное слово, глубокое слово, глубоко и деликатно верное, со ста оттенками и ста способами.

Женщина — это активное посвящение, чрезвычайно нежная и терпеливая сила, которая знает и умеет посвящать.

Она сама является объектом посвящения. Она посвящает в красоту, которая есть она сама, в красоту в ее различных степенях, особенно в высшей степени. — И какой? Жертвоприношение.

Жертва, часто мучительная и драматичная, шокирующая борьбой, усилием, — в матери она гармонична, она входит в самую ее гармонию; это ее высшая красота.

Жертва в других случаях извивается, рвется и разрывается. В ней она улыбается, благодарит. Отдавая свою жизнь за то, что она любит, за свою осуществленную, живую любовь (я имею в виду ребенка), она жалуется, что дает еще мало.

Она умоляет все вокруг восполнить ее бессилие, призывает все одарить эту колыбель... Ах, если бы у нее был алмаз с небес, звезда Бога! Золотая ветвь сивиллы, этот непогрешимый проводник, мало успокоила бы ее на первых шагах. Луч света, на котором Беатриче подняла любимую душу из мира в мир, был, без сомнения, ярким, но был ли он таким же теплым, как влажный луч, дрожащий в глазах матери?

Она, которая призывает все на помощь, имеет в себе гораздо больше, чтобы одарить своего сына.

У нее есть то, что является ею самой, ее глубокая материнская природа, *безграничная жертвенность*.

Спасибо, нам не нужно больше. Бог, Родина, не хотят большего.

Эта единственная сила, если она действительно приобретена ребенком, охватит все.

О чем мы просим тебя, о женщина? Только о том, чтобы ты реализовала для того, кого любишь, чтобы ты вложила в его полную правду свою собственную природу, которая есть жертва.

Это просто, но в этом многое заключено.

Это подразумевает, в первую очередь, забвение, жертву временных любвей ради твоей великой, твоей вечной любви.

Жертву маленького искусственного мира, маленьких искусств, красоты, ради высшей красоты природы, которая есть в тебе, если ты ее ищешь, и из которой ты должна создать, расширить душу любимого.

Наконец, жертва (в этом заключается испытание, а также слава и успех) мягкой нежности, которая покрывает эгоизм. Жертва, которая говорит: «Не для меня, а для всех! Пусть он любит меня! Но главное, пусть он будет великим!»

В этом, я знаю, заключается бесконечность жертвы. И именно в этом заключается цель посвящения, именно это сын должен перенять от матери, именно этим он должен ее представлять: *любить не для себя, предпочитать мир себе*.

Эта божественная эластичность любви и ассимиляции, это расширение сердца, которое не уменьшает его силу, а наоборот, подразумевает абсолютную преданность, если он ее достигает, что еще можно ему пожелать? Он велик с этого дня и не может стать больше... Потому что тогда мир в нем.

Нерви, недалеко от Генуи, 20 марта 1854 года.

КОНЕЦ.

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Замечательные письма Латюда до сих пор не опубликованы, за исключением тех немногих, которые процитировал Делорт. Они более чем опровергают бесплодную полемику 1787 года.

[2] По мере того, как мы вникаем в более серьезный анализ истории тех времен, мы обнаруживаем часто скрытую, но огромную роль, которую сердце играло в судьбах людей того времени, какими бы ни были их характеры. Ни один из них не является исключением, от Неккера до Робеспьера. Это разумное поколение всегда отстаивает свои идеи, но чувства управляют им с не меньшей силой.

[3] Если король запретил действовать, как утверждается, то это было позже и слишком поздно.

[4] Эта трогательная маленькая книжка, написанная до Революции, была опубликована после нее, в 98 году; она охватывает две эпохи. Письма адресованы Кабанису, зятю милого автора, безутешному другу, доверенному лицу, знающему о глубокой ране. Они были написаны в этом бледном Элиее в Отей, полном сожалений и любимых теней. Эти письма говорят тихо; чувствительные струны приглушены. Однако при такой большой сдержанности не всегда можно различить среди намеков, что относится к первым печалям девушки, а что к сожалениям вдовы. К Кондорсе или к Кабанису обращен этот деликатный, трогательный отрывок, который мог бы быть красноречивым, но она вовремя останавливается: «Исправитель и проводник нашего счастья...»

[5] Эта сухость лишь внешняя. Это хорошо чувствуется при чтении ее последних слов дочери, длинной и нежной рекомендации любить и беречь животных, печали, которую она выражает по поводу жестокого закона, обязывающего их служить друг другу пищей.

[6]

Altera jam teritur bellis civilibus ætas;

.....

Justum et tenacem propositi virum

.....

Et euncta terrarum subacta

Præter atrocem animum Catonis.

[7] Эта религия, зародившаяся в сердце женщины (это было очарование ее колыбели), в своем упадке поглощается женщиной. Ее доктора ненасытны в своих исследованиях тайны пола. В этом же году (1849) какую тему тщательно изучал и исследует Парижский собор? Только одну — зачатие. Не ищите священника в науках или литературе; он в исповедальне, и там он потерялся. Что, по-вашему, станет с бедным человеком, к которому каждый день приходят сотни женщин, чтобы рассказать о своих сердцах, своих постелях, всех своих секретах? Священные тайны природы, которые, если бы их рассматривать с высоты Божьего дня, строгим взором науки, расширяли бы ум, ослабляют и изнуряют его, когда их улавливают в полумраке чувственных откровений. Лихорадочное возбуждение, начатые удовольствия, более или менее уклоняемые, бесконечно повторяющиеся, бесповоротно

стерилизуют человека (я рекомендую эту важную тему философу и врачу). Он может сохранить небольшие способности к интригам и манипуляциям, но великие мужские способности, особенно изобретательность, никогда не развиваются в этом болезненном состоянии; они требуют здорового, естественного, законного и честного состояния. Особенно в течение последних ста пятидесяти лет, с тех пор как *Святое Сердце*, под покровом двусмысленности, сделало эту роковую игру такой легкой, священник изнежил и больше ничего не произвел; он остался евнухом в науках.

[8] Эти письма (хранившиеся в *Национальном архиве*, железный шкаф, с. 37, материалы процесса Людовика XVI) являются смягчающим обстоятельством в пользу неуверенного, робкого человека, чье сознание они, должно быть, мучили.

[9] До своей свадьбы с Роланом мадемуазель Филипон была вынуждена из-за неподобающего поведения своего отца укрыться в монастыре на улице Нев-Сен-Этьен, ведущей к Ботаническому саду; этой маленькой улице, столь прославленной воспоминаниями о Паскале, Роллене, Бернардине де Сен-Пьере. Она жила там не как монахиня, а в своей комнате, между Плутархом и Руссо, веселая и мужественная, как всегда, но в крайней бедности, с более чем спартанской скромностью, и, казалось, уже практикуя добродетели Республики.

[10] Смотрите портреты Лемонте, Риуффа и многих других; как гравюру, добрый и наивный портрет, помещенный Шампанью в начале первого издания Мемуаров (год VIII). Он сделан незадолго до ее смерти, в тридцать девять лет. Она сильная, и уже немного *мама*, если можно так сказать, очень спокойная, твердая и решительная, с явно критическим складом ума. Последнее качество связано не только с ее революционной полемикой; но таковы в целом те, кто боролся, кто мало уделял внимания удовольствиям, кто сдерживал, откладывал страсти, кто, наконец, не получил удовлетворения в этом мире.

[11] Посмотрите на прекрасное письмо Боску, который был очень озабочен ею и опечален тем, что она переехала в Лион, так далеко от Парижа: «Сидя у камина, после спокойной ночи и различных утренних забот, мой друг за своим столом, моя малышка вяжет, а я разговариваю с одним, следя за работой другого, наслаждаясь счастьем быть в тепле в кругу моей маленькой и дорогой семьи, пишу другу, пока снег падает на стольких несчастных, я сочувствую их судьбе» и т. д. — Милые картинки из быта, серьезное счастье добродетели, показанные молодому человеку, чтобы успокоить его сердце, очистить его, возвысить... Однако завтра ветер бури унесет это гнездо!

[12] Это был он, честный и достойный Боск, который в последний момент, поднявшись над собой, чтобы воплотить в ней тот высший идеал, которым он всегда восхищался, дал ей благородный совет не скрывать свою смерть от посторонних глаз, не отравлять себя, , но принять эшафот, умереть публично, почтить своим мужеством Республику и человечество. Он следует за ней в бессмертие за этот героический совет. Мадам Ролан идет туда с улыбкой, рука об руку со своим строгим мужем, и ведет с собой группу милых, безупречных друзей (не говоря о Жиронде), Боска, Шампанью, Банкаля дес Иссара. Ничто не разлучит их.

[13] Если вы ищете эти улики, мы отсылаем вас к двум отрывкам из «Мемуаров мадам Ролан», которые ничего не доказывают. Она говорит о страстях, «от которых она едва спасает зрелый возраст с энергией атлета». Какой вывод вы из этого сделаете? Она говорит о «веских причинах», которые около 31 мая подтолкнули ее к отъезду. Совершенно необычно и абсурдно смело предполагать, что эти веские причины могут быть только любовью к Барбару или Бузо.

[14] Мы не можем удержаться от удовольствия скопировать портрет мадам Ролан, нарисованный Лемонтеем:

«Я видел мадам Ролан несколько раз до 1789 года, — говорит он. — Ее глаза, фигура и волосы были необыкновенно красивы, а ее нежный цвет лица имел свежесть и оттенок, которые в сочетании с ее сдержанностью и искренностью необычайно омолаживали ее. Я не нашел в ней той непринужденной элегантности парижанки, которую она приписывает себе в своих мемуарах; я не хочу сказать, что она была неловкой, потому что то, что просто и естественно, никогда не может быть лишено грации. Я помню, что, когда я увидел ее в первый раз, она олицетворяла мое представление о внучке из Веве, которая повернула столько голов, о Жюли Ж.-Ж. Руссо; и когда я услышал ее, иллюзия стала еще полнее. Мадам Ролан говорила хорошо, слишком хорошо. Самолюбие хотело бы найти в ее словах некоторую напыщенность, но это было невозможно: она просто была слишком совершенной натурой. Ум, здравый смысл, уместность выражений, острый разум, наивная грация — все это без труда вытекало из ее слоновой кости зубов и розовых губ; приходилось смириться с этим. Во время революции я видел мадам Ролан только один раз; это было в начале первого министерства ее мужа. Она не утратила ничего из своей свежести, юности и простоты; ее муж походил на квакера, а она — на его дочь, и их ребенок порхал вокруг нее с красивыми волосами, ниспадающими до пояса; казалось, что жители Пенсильвании переселились в салон господина де Калонна. Мадам Ролан говорила только о государственных делах, и я поняла, что моя умеренность вызывала у нее некоторое сострадание. Ее душа была возбуждена, но сердце оставалось мягким и безобидным. Хотя большие потрясения в монархии еще не произошли, она не скрывала, что начинают появляться признаки анархии, и обещала бороться с ней до самой смерти. Я помню спокойный и решительный тон, с которым она объявила мне, что, когда придет время, она понесет свою голову на эшафот; и я признаюсь, что образ этой очаровательной головы, брошенной на милость палача, произвел на меня неизгладимое впечатление, потому что ярость партий еще не приучила нас к таким ужасным мыслям. Поэтому впоследствии чудеса стойкости мадам Ролан и героизм ее смерти не удивили меня. В этой знаменитой женщине все было гармонично и ничего не было наиграно; она была не только самым сильным, но и самым подлинным характером нашей Революции; история не пренебрежет ею, и другие народы будут нам ее завидовать».

[15] Историки-романисты никогда не оставляют свою героиню в покое, не пытаются доказать, что она должна была быть влюблена. Эта, вероятно, говорят они, была влюблена в Барбару. Другие, основываясь на словах старой служанки, придумали некоего Франкелена, чувствительного и красивого молодого человека, которому выпала честь быть любимым мадемуазель Корде и вызывать у нее слезы. Это означает плохое знание человеческой природы. Такие поступки предполагают строгую девственность сердца. Если жрица Тавриды знала, как вонзить нож, то это потому, что никакая человеческая любовь не смягчила ее сердце. Самым абсурдным из всех является Вимпфен, который сначала делает ее роялисткой, влюбленной в роялиста Бельзунса! Ненависть Вимпфена к жирондистам, которые отвергли его предложения призвать англичан, кажется, лишает его рассудка. Он доходит до того, что предполагает, что бедный человек Петтион, полумертвый, у которого осталась только одна мысль — его дети, его жена, — хотел... (угадайте!)... сжечь Каен, чтобы потом возложить ответственность за это преступление на Монтань! Все остальное — той же силы.

[16] Нужно ли говорить, что этот культ ни в коей мере не был истинным культом Революции? Она была уже старой и утомленной, слишком старой, чтобы рожать детей. Эта холодная попытка 93 года исходит не из ее горячего лона, а из разумных школ эпохи Энциклопедии.—

Нет, эта отрицательная, абстрактная сторона Бога, какой бы благородной и возвышенной она ни была, не была той, которую требовали сердца и необходимость времени. Чтобы поддержать усилия героев и мучеников, нужен был другой Бог, нежели Бог геометрии. Могуущественный Бог природы, Бог-Отец и Создатель (неизвестный в средневековье, см. Монументы Дидрона) сам по себе не был бы достаточен; этого было недостаточно для откровения Ньютона и Лавуазье. Бог, который был нужен душе, был Богом героической справедливости, с помощью которого Франция, вооруженный священник Европы, должна была вызвать из могил погребенные народы.

Несмотря на то, что этот Бог еще не был назван, не был почитаем в наших храмах, наши отцы следовали за ним в своем крестовом походе за свободу мира. Что бы мы имели сегодня без него? На грудях развалин, на потухшем, разрушенном очаге, когда земля уходит из-под ног, в нем покоятся непоколебимые наши сердца и наша надежда.

[17] В 90 году, по-видимому, он был в Элоизе; у него была любовница (см. нашу Историю, т. II, с. 323). Что касается его поведения в 89 году, я не решаюсь рассказать один подозрительный анекдот. Я слышал его от известного художника, правдивого, поклонника Робеспьера, но который сам слышал его от Александра де Ламета. Однажды художник провожал старого члена Учредительного собрания, и тот показал ему на улице Флерюс бывший отель Ламе и рассказал, что однажды вечером Робеспьер, поужинав с ними, собирался возвращаться домой на улицу Сентонж в Марэ; но заметил, что забыл свой кошелек, и одолжил шесть франков, сказав, что они ему нужны, потому что по дороге домой он должен зайти к девушке: «Это лучше, — сказал он, — чем соблазнять жен своих друзей». — Если верить, что Ламет не придумал это слово, то, на мой взгляд, наиболее вероятным объяснением является то, что Робеспьер, недавно прибывший в Париж и желая быть принятым самой прогрессивной партией, которой в Учредительном собрании была молодая знать, счел полезным подражать ее нравам, по крайней мере на словах. Можно поспорить, что он сразу же вернулся в свой честный Марэ.

[18] Она любила его до такой степени, что хотела умереть вместе с ним. — И все же, принадлежала ли она ему целиком, без оговорок, с таким преданным сердцем? Кто может это утверждать? Ее горячо любил человек, гораздо уступавший ей (слишком известный Фрерон). Она выглядит очень смущенной на этом портрете; жизнь здесь уже вступила в свою вторую половину; цвет лица темный, нечеткий... Бедная Люсиль! Боюсь, ты слишком много выпила из этого кубка, Революция в тебе. Мне кажется, я чувствую, что ты здесь в неразрешимом узле... Но как славно ты от него отрешилась смертью!

[19] «Из тюрьмы Люксембург, 2-е число герминаля, 3 часа утра.

«Благотворный сон приостановил мои страдания. Во сне мы свободны, не чувствуем себя пленниками: небо сжалилось надо мной. Буквально минуту назад я видел вас во сне, я обнимал вас по очереди, тебя, Горация и Дурусса, который был дома; но наш малыш потерял глаз из-за капли, которая попала ему в него, и боль от этого несчастного случая разбудила меня. Я очнулся в своей камере. Уже немного светало. Не имея возможности видеть тебя и слышать твои ответы, потому что ты и твоя мать разговаривали со мной, я встал, чтобы по крайней мере поговорить с тобой и написать тебе. Но, открыв окна, мысль о моем одиночестве, ужасные решетки, замки, которые отделяют меня от тебя, сломили всю мою силу духа. Я разрыдался, или, вернее, зарыдал, крича в своей могиле: Люсиль! Люсиль! О, моя дорогая Люсиль, где ты? (Здесь видны следы слез.) Вчера вечером я пережил похожий момент, и мое сердце также разрывалось, когда я увидел в саду твою мать. Машинное движение бросило меня на колени к решетке; я сложил руки, как будто умоляя о пощаде ту,

которая, я уверен, стонет в твоём лоне. Вчера я видел её боль (*здесь снова следы слез*) по её платку и вуали, которую она опустила, не в силах вынести это зрелище. Когда ты придёшь, пусть она сядет поближе к тебе, чтобы я мог вас лучше видеть. Мне кажется, в этом нет ничего опасного. Мои очки не очень хорошие; я хотел бы, чтобы ты купила мне такие очки, как у меня были полгода назад, не серебряные, а стальные, с двумя дужками, которые крепятся к голове. Ты попросишь номер 15: продавец знает, что это значит; но, прежде всего, я умоляю тебя, Лолотта, моей вечной любовью, пришли мне свой портрет; пусть твой художник сжалится надо мной, который страдает только за то, что слишком сострадал другим; пусть он уделяет тебе два сеанса в день. В ужасе моей тюрьмы это будет для меня праздником, днем опьянения и восторга, днем, когда я получу этот портрет. А пока пришли мне свои волосы, чтобы я мог прижать их к сердцу. Моя дорогая Люсиль! Я вернулся во времена нашей первой любви, когда меня интересовал человек только потому, что он выходил из твоего дома. Вчера, когда гражданин, который принес тебе мое письмо, вернулся, я спросил его: «Ну, ты её видел?», как я когда-то спрашивал аббата Ландревилля, и поймал себя на том, что смотрю на него так, как будто на его одежде, на всей его личности осталось что-то от твоего присутствия, что-то от тебя. Он благородная душа, раз без промедления доставил тебе мое письмо. Я буду видеться с ним, как мне кажется, два раза в день, утром и вечером. Этот вестник наших страданий становится для меня таким же дорогим, как когда-то был бы вестник наших радостей. Я обнаружил щель в своей квартире; приложил ухо, услышал стоны; сказал несколько слов, услышал голос страдающего больного. Он спросил мое имя, я ему его назвал. «О Боже!» — воскликнул он, услышав это имя, и упал обратно на кровать, с которой только что встал; я ясно узнал голос Фабра д'Эглатина. «Да, я Фабр, — сказал он мне, — но ты здесь! Значит, контрреволюция свершилась?» Однако мы не смеем разговаривать, боясь, что ненависть лишит нас этого слабого утешения и что, если нас услышат, нас разлучат и запрут ещё плотнее; у него камера с камином, а моя была бы неплоха, если камера с камерой может быть неплохой. Но, дорогая подруга! Ты не представляешь, что значит находиться в тайном заключении, не зная причины, не будучи допрошенным, не получая ни одной газеты! Это значит жить и быть мертвым одновременно; это значит существовать только для того, чтобы чувствовать, что ты находишься в гробу! Говорят, что невиновность спокойна и мужественна. Ах, моя дорогая Люсиль, моя возлюбленная! Часто моя невинность слаба, как невинность мужа, отца, сына! Если бы это были Питт или Кобург, которые так жестоко обращались со мной, но мои коллеги! Но Робеспьер, который подписал приказ о моем заключении в камеру! Но Республика, после всего, что я для неё сделал! Вот какую награду я получаю за столько добродетелей и жертв! Войдя сюда, я увидел Эро-Сешеля, Симона, Ферру, Шометта, Антонелле; они менее несчастны: ни один из них не находится в тайной камере. Это я посвятил пять лет своей жизни ненависти и опасностям Ради Республики, я сохранил свою чистоту в разгар революции, я прошу прощения только у тебя одной, моя дорогая Лолотта, и ты простила меня, потому что знаешь, что мое сердце, несмотря на его слабости, достойно тебя; именно меня люди, называвшие себя моими друзьями, называющие себя республиканцами, бросают в темницу, в секретную камеру, как заговорщика! Сократ выпил цикуту, но по крайней мере он видел в своей тюрьме своих друзей и жену. Насколько же тяжелее быть разлученным с тобой! Самый страшный преступник был бы слишком наказан, если бы его отняли у Люсиль иначе, чем смертью, которая дает почувствовать боль такой разлуки хотя бы на мгновение; но виновный не был бы твоим мужем, а ты любила меня только потому, что я жил только для счастья своих сограждан... Меня зовут... В этот момент комиссары революционного трибунала пришли допросить меня. Мне задали только один вопрос: был ли я заговорщиком против Республики. Какая насмешка! Разве можно так оскорблять чистейший республиканизм! Я вижу, какая судьба меня ждет. Прощай, моя Люсиль! Моя

дорогая Лолотта, мой добрый волк! Попрощайся с моим отцом. Ты видишь во мне пример варварства и неблагодарности людей. Мои последние минуты не опозорят тебя. Ты видишь, что мои опасения были обоснованными, что наши предчувствия всегда сбывались. Я женился на женщине, обладающей божественными добродетелями; я был хорошим мужем, хорошим сыном; я был бы хорошим отцом. Я уношу с собой уважение и сожаление всех истинных республиканцев, всех людей, добродетели и свободы. Я умираю в тридцать четыре года; но это феномен, что за пять лет я прошел через столько пропастей революции, не упав в них, и что я все еще существую и все еще спокойно кладу голову на подушку своих многочисленных сочинений, которые все дышат одной и той же филантропией, одним и тем же желанием сделать моих сограждан счастливыми и свободными, и которые не поразит топор тиранов. Я хорошо вижу, что власть опьяняет почти всех людей, что все говорят, как Денис Сиракузский: «Тирания — прекрасная эпитафия». Но утешайся, опечаленная вдова! Надгробная надпись твоего бедного Камилла более славна: это надпись Брута и Катона, тираноборцев. О, моя дорогая Люсиль! Я родился, чтобы сочинять стихи, защищать несчастных, делать тебя счастливой, создавать вместе с твоей матерью, моим отцом и несколькими близкими нам людьми Отаити. Я мечтал о республике, которую все бы обожали. Я не мог поверить, что люди могут быть такими жестокими и несправедливыми. Как можно было подумать, что несколько шуток в моих сочинениях против коллег, которые меня спровоцировали, стерли бы память о моих заслугах! Я не скрываю, что умираю жертвой своей шутки и своей дружбы с Дантоном. Я благодарю своих убийц за то, что они позволяют мне умереть вместе с ним и Филиппо; и, поскольку наши коллеги достаточно трусливы, чтобы бросить нас и прислушаться к клевете, о которой я не знаю, но которая, несомненно, является самой грубой, я вижу, что мы умрем жертвами нашего мужества в обличении предателей, нашей любви к правде. Мы можем унести с собой свидетельство того, что мы погибаем последними из республиканцев. Прости, дорогая подруга, моя настоящая жизнь, которую я потерял в тот момент, когда нас разлучили, я забочусь о своей памяти. Я должен скорее позаботиться о том, чтобы ты забыла меня, моя Люсиль! Моя дорогая! Моя курочка! Умоляю тебя, не оставайся на ветке, не зови меня своими криками; они разорвут меня в глубине могилы: живи ради моего Горация, расскажи ему обо мне. Скажи ему то, чего он не может услышать. Как я его любил! Несмотря на мои мучения, я верю, что есть Бог. Моя кровь смывает мои грехи, слабости человечества; а то, что во мне было хорошего, мои добродетели, моя любовь к свободе, Бог вознаградит. Я увижу тебя снова однажды, о Люсиль! О Аннет! Чувствительный, как я был, смерть, которая избавляет меня от вида стольких преступлений, разве это такое большое несчастье? Прощай, Люсиль; прощай, моя жизнь, моя душа, моя богиня на земле! Я оставляю тебе хороших друзей, всех добродетельных и чувствительных людей. Прощай, Люсиль, моя дорогая Люсиль! Прощай, Гораций, Аннет! Прощай, отец! Я чувствую, как берег жизни ускользает от меня. Я еще вижу Люсиль! Я вижу ее! Мои скрещенные руки обнимают тебя! Мои связанные руки целуют тебя, и моя отрезанная голова покоится на тебе. Я умираю!»

[20] Я с радостью нахожу у Либиха (Новые письма о химии, письмо xxxvi) это столь верное наблюдение, которое в этой крайней подвижности физического существа гарантирует мне неизменность моей души и ее независимость: «Является ли нематериальное, сознательное, мыслящее и чувствующее существо, обитающее в коробке с конденсированным воздухом, которую мы называем человеком, простым результатом его структуры и внутреннего устройства? Многие так считают. Но если бы это было правдой, человек должен был бы быть идентичен быку или другому низшему животному, от которого он не отличается по составу и устройству». Чем больше химия доказывает мне, что я материально похож на животное, тем больше она заставляет меня отнести мои столь разнообразные и столь превосходящие его энергии к иному принципу.

[21] «Таким образом, скажут мудрецы, покинув твердую почву идеи, вы встали на изменчивый путь чувств».

На что я отвечу: очень немногие идеи являются новыми. Почти все те, которые появляются в этом веке и хотят его увлечь, появлялись много раз и всегда безрезультатно. Появление идеи — это не столько первое появление ее формулы, сколько ее окончательная инкубация, когда, принятая в мощном тепле любви, она расцветает, оплодотворенная силой сердца.

Тогда, тогда она уже не слово, она — живая вещь; как таковая, она любима, обнимаема, как дорогой новорожденный, которого человечество принимает в свои объятия.

Идей и систем у нас предостаточно, даже в избытке. Какая из них спасет нас? Более одной может. Это зависит от момента кризиса и от наших обстоятельств, которые очень разнообразны в зависимости от времени и народов.

Самое важное и самое сложное — это то, что полезная идея в решающий момент встречает подготовленную почву моральной доброй воли, героического тепла, преданности, самопожертвования... Где я найду первоначальную искру в условиях всеобщего охлаждения? Вот о чем я думал.

Я обратился к неугасимой искре, к очагу, который будет гореть даже на руинах мира, к бессмертному теплу материнской души.